

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
институт МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
*имени*  
А.М. ГОРЬКОГО

# ЦИЦЕРОН

СБОРНИК СТАТЕЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА

1958

**В статьях настоящего сборника дается характеристика некоторых сторон политической, философской и литературной деятельности Цицерона**

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР**

**Ф. А. ПЕТРОВСКИЙ**

*М. Е. Грабарь-Пассек*

## НАЧАЛО ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ ЦИЦЕРОНА

(82—70 гг. до н. э.)

### ВВЕДЕНИЕ

Среди исследователей истории Рима и римской литературы найдутся, по всей вероятности, лишь немногие, которые смогли бы похвалиться тем, что прочли все книги и статьи, посвященные Цицерону. Литература о Цицероне огромна, разнообразна и во многих отношениях противоречива. При этом противоречивые суждения о Цицероне касаются не его характеристики как мастера ораторского искусства — высокая оценка его ораторского таланта является почти общепринятой, — а характеристики его общественной деятельности и политических убеждений. Надо заметить, что расхождения в мнениях о Цицероне как политике можно проследить с древнейших времен, а именно, со времен, непосредственно следовавших за его смертью, т. е. с эпохи Августа. Известно, что сам Август был в значительной степени повинен в смерти Цицерона: по сообщению Плутарха, он после двухдневного сопротивления уступил настояниям жесточайшего врага Цицерона, Марка Антония, и согласился включить Цицерона в списки обреченных на смерть; поэтому он не любил упоминаний о Цицероне, сочинения которого некоторое время даже находились под запретом. Плутарх (Цицерон, 49, 4) рассказывает о том, как испугался внук Августа, когда дед застал его за чтением речей Цицерона; правда, Август вернул мальчику книгу, сказав: «Красноречивый (λόγιος) был человек, красноречивый и преданный родине»; но все же напоминания о страшной гибели Цицерона, совершившейся если не при участии Августа, то при его попустительстве, едва ли могли быть ему приятны. Однако в эту же эпоху зародился прямой культ Цицерона не только как оратора и ученого, а именно как героя-патриота; об этом свидетельствуют дошедшие до нас фрагменты из поэм малых поэтов августовского века.

Один из них, Корнелий Север, которого мы знаем только из упоминаний его имени у Овидия и Квинтилиана, и из нескольких фрагментов, написал, по сообщению Квинтилиана (X, 1, § 89), поэму «О Сицилийской войне» (войну эту вел Октавиан против Секста Помпея в 38—36 гг., т. е. еще до разрыва с Марком Антонием). Единственный крупный фрагмент из этой поэмы (приведен в «Свазориях» Сенеки 6, § 26) говорит о смерти Цицерона и является пламенным панегириком его деятельности; эти риторические, но не лишённые подлинного чувства стихи свидетельствуют о наличии оппозиционного настроения в обществе. Даже трудно понять, как такие стихи могли появиться, если сочинения Цицерона действительно находились под запретом. Правда, неизвестно, дошли ли эти стихи Корнелия Севера до Августа, но ни о каких репрессиях по отношению к их автору ничего не известно. Фрагмент этот таков

- <sup>1</sup>    **Головы многих мужей знаменитых положены были  
В дни те на роствах, как будто живые: но взор привлекала  
Только одна среди всех — Цицерона погибшего образ.  
Подвиги консула вновь могучие в памяти встали,  
Клятвы, раскрытые им, и козни страшных союзов,  
Знатных злодеев позор: и вот — повторилася снова  
Кара Цетега и вновь незаконный пришел Катилина.  
Слава, успех у толпы и долгие годы почета  
Много ль тебе помогли — и любовь к священным искусствам?**
- 10    **Гордость века один этот день уничтожил; в рыданиях  
Смокла в печали навек краса латинского слова.  
Тот, кто единой защитой, кто всех угнетенных спасеньем  
Некогда был, он — Рима глава, он — советник сената,  
Форума слава и блеск, законов наших и права  
Голос живой — он умолк, сражен жестоким оружием.  
Мукой истерзанный лик и седины с застывшею кровью,  
Пролитой дерзко, и руки святые, свершившие столько  
Славных деяний, — все это попрали победитель надменный,  
Воли богов не почтив, не боясь неверного рока.**
- 20    **Нет! Преступленья такого вовек не смоят Антоний!**

По-видимому, в том же духе писал испанец — поэт Секстилий Эна; его единственный стих, дошедший до нас, сходен со стихом 11-м приведенного фрагмента:

**Смерть Цицерона оплачем, безмолвие речи латинской.**

Прекрасная сохранность большинства сочинений Цицерона, включая даже такой уникальный для того времени материал,

<sup>1</sup> Все переводы, данные в этой статье, сделаны ее автором.

как его частная переписка, свидетельствует тоже об уважении и интересе к нему. Однако существовало и довольно сильное обратное течение: так, в «Заговоре Катилины» Саллюстий ясно и, несомненно, вполне сознательно подчеркивает, что Цицерон играл в политике совсем не такую значительную роль, как воображал; он упоминает о нем как бы вскользь; некоторой иронией звучит и известная эпитаграмма (№ 49) Катутла к Цицерону — «Disertissime Romuli nepotum». Подобное же отношение к Цицерону, но в еще более обостренной форме нашло впоследствии свое выражение в двух инвективах — Саллюстия против Цицерона и Цицерона против Саллюстия; в настоящее время эти инвективы признаются риторическими упражнениями примерно I—II в. н. э. В первой инвективе Цицерон охарактеризован весьма нелестно. «Легковеснейший перебежчик, — обращается к нему неизвестный автор речи, — ты стоишь то на той, то на другой стороне, но никому не верен; ненадежный сенатор, продажный патрон; ... язык болтливый, руки алчные, глотка необъятная, ноги, всегда готовые к бегству. Ты, Ромул арпинский! Какая же сторона тебе нравится? Кто тебе друг, кто враг? Ты льстишь могуществу тех, кого ты называл тиранами; а тех, которые прежде казались тебе «лучшими людьми», ты называешь безумцами, потерявшими разум... Ты восхваляешь Цезаря; кого ты больше всех ненавидел, к тому ты больше всех подлаживаешься». Именно тот факт, что такая тема разрабатывалась через 100 лет (а м. б. и больше) после смерти Цицерона, доказывает больший интерес к нему, чем если бы это были подлинные инвективы цезарианца Саллюстия против Цицерона.

Политическая позиция Цицерона, очевидно, являлась и раньше темой декламаций — в «Контroversиях» Сенеки Старшего три «свазории» посвящены конфликту между Цицероном и Марком Антонием. По-видимому, уже ближайшие преемники Цицерона считали его фигуру в какой-то степени загадочной и ломали голову над разрешением вопроса о том, кем же был Цицерон в действительности; в особенности воображение поэтов и риториков было поражено явным контрастом между его хотя и беспокойной, но в общем удачной жизнью, его нетвердым, покладистым и даже нередко легкомысленным характером и его трагической гибелью, которая вследствие безобразной жестокости Марка Антония и Фульвии, выставивших отрубленную голову и правую руку Цицерона на роствах, произвела особенно угнетающее впечатление на население Рима.

Пока существовало Римское государство, отношение к Цицерону нередко определялось политической позицией того или иного автора, той или иной группировки. Однако и здесь трудно установить какие-либо определенные линии; так, например,

у Веллея Патеркула, писателя весьма благонамеренного и настроенного в пользу империи, мы находим пламенный панегирик Цицерону (II, 66); он восхваляет его «божественные уста», называет его «былым спасителем государства» и предсказывает ему «вечную славу». В примирительном тоне, сводя воедино различные мнения, пишет о нем Плутарх.

Но вполне беспристрастного единого взгляда на его деятельность выработать не удалось и в новые времена. Среди ученых явно намечаются две группы: враги и ненавистники — в XIX в. Друман и Моммзен, в настоящее время Каркопино; поклонники и друзья — Буасье, Али, а в настоящее время Зеель, который маскирует все те слишком человеческие черты, которые самому Цицерону больше всего вредили.

В общем, хотя и не в такой резкой форме, как в инвективе псевдо-Саллюстия и у Друмана, но все же наиболее распространенная следующая характеристика Цицерона:

Цицерон в начале своей деятельности примыкал к «популярам» и в качестве их сторонника был противником Суллы; с тех же позиций он громил пережитки сулланского аристократического режима в лице Верреса и лишь со времени своего избрания в консулы (т. е. как *consul designatus*) и раскрытия заговора Катилины он резко изменил свою позицию — стал ярким сторонником сената, помпеянцем, скрытым оппозиционером во время диктатуры Цезаря, открытым врагом цезарианца Марка Антония, и умер как мученик за сенат и республику. Иначе говоря, Цицерон в начале своей деятельности изображается смелым сторонником популяров, а с 63-го года явным ренегатом и консерватором.

Эта схема требует основательного пересмотра на конкретном материале, имеющемся в нашем распоряжении, с полным учетом исторических фактов и политической обстановки, в особенности в доконсульский период деятельности Цицерона.

Материал, которым мы располагаем для этого периода, скуднее по объему и менее значителен по содержанию, чем то, что мы имеем для позднейших периодов: он ограничивается речами и небольшим риторическим сочинением «*De inventione*»; ценнейший источник — письма — вступает в силу только с консульства; философские и риторические сочинения тоже датированы поздними годами жизни Цицерона. Однако даже в речах доконсульского периода имеется немало как прямых высказываний, так и намеков, которые, будучи увязаны с фактами политической истории конца республики, могут многое раскрыть в этом сложном вопросе.

Только детальное изучение всего этого материала может (и то с известным «приближением») установить, действительно ли Цицерон был ренегатом по отношению к партии популяров.

Сведения, имеющиеся у нас о юности Цицерона, довольно скудны, но не настолько, чтобы нельзя было извлечь из них некоторого представления об убеждениях и интересах Цицерона еще в ранней юности, какие черты характера были ему свойственны, и, следовательно, с какими предпосылками он вышел на общественную арену.

Цицерон происходил из плебейского рода Туллиев и был старшим сыном не очень богатого, но и не бедного всадника, владевшего небольшим родовым поместьем около Арпина, небольшого городка в Лации. Когда ему было 14 лет, отец его с ним и с его младшим братом Квинтом перебрался в Рим; там Цицерон стал учиться всему, что требовалось для подготовки к карьере судебного оратора, — риторике, праву и философии. Благодаря хорошим способностям он рано овладел греческим языком, а также латинским стихосложением, о чем свидетельствует дошедший до нас (частично) его стихотворный перевод астрономической поэмы Арата. В 16 лет (в 90-м г.) перед самым началом Союзнической войны он вступил в римское войско и попал под начальство всадника Помпея Страбона, у которого начинал свою службу и сын самого Помпея Страбона, впоследствии Помпей «Великий». Возможно, что отношения Цицерона с Помпеем завязались именно в тот период и снисходительное отношение к недостаткам Помпея, неспособность долго сердиться на него, которые проявлялись у Цицерона до самой смерти Помпея, объясняются их общей службой в юности.

В 90-м году отношения между группировками Суллы и Мария еще не были так сильно обострены, как в 80-е годы. Однако Помпей Страбон и в это время принадлежал к сулланцам, и когда в 89-м году конфликт стал назреть, весь его отряд поставил себя в распоряжение Суллы, а тем, кто привел это войско к прославленному уже тогда Сулле, был именно молодой Помпей; между 89-м и 80-м годами он прошел свою военную выучку в сулланском войске, на Востоке в первой войне с Митридатом и в гражданской войне против марианцев. В это же время его ровесник Цицерон (между ними была разница только в несколько месяцев) покинул военную службу; и до 81-го года мы не имеем о нем никаких сведений; где именно он провел эти годы (целых девять лет), в Риме ли, переходившем несколько раз из рук в руки и являвшемся ареной страшных уличных боев, резни и казней, или в каком-нибудь

провинциальном городе,— неизвестно, но совершенно достоверно, что он не выступал активно ни на той, ни на другой стороне. Сам Цицерон, хотя и очень глухо, говорит об этом времени во второй из дошедших до нас речей («За Росция Америкского» 47). «Все, кто знают меня, знают и то, что, когда оказалось невозможным, как мне хотелось, чтобы дело окончилось мирным путем [или: чтобы было достигнуто соглашение — *ut compromeretur*], я по мере сил стремился к тому, чтобы победила именно та сторона, которая и победила. Кто не видел тогда, что низшие сражались за власть с высшими? И плохим гражданином был бы тот, кто не стал бы на сторону людей, которые в случае победы сделали бы государство процветающим внутри и уважаемым во вне. В этом, я полагаю, и заключалась цель борьбы, и я, сознаюсь, стоял на этой стороне». Что понимает Цицерон под туманными выражениями «стремился» и «стоял на этой стороне», неизвестно; вернее всего это означает его чисто пассивное сочувствие- (в известной мере свойственное его характеру и в позднейшие времена); но что симпатии его всегда принадлежали «высшестоящим», а не «низшим», несомненно; только человек, которого никто не мог заподозрить в сочувствии марианцам в эпоху их господства, мог позволить себе (в речи за Публия Квинкция) чисто политические выпады против некоего Невия, который после разгрома марианцев стал ярким сторонником сулланцев.

Учителя Цицерона тоже никак не могли внушить ему особых симпатий к «народоправству». Философские направления, с которыми он ознакомился в эту пору, были: во-первых, учение Академии, сохранявшей в общих чертах идеалистические и аристократические установки своего основателя Платона и в лучшем случае проповедовавшей равновесие сил в государстве (оттого на Цицерона впоследствии произвела такое сильное впечатление теория Полибия); во-вторых,— эпикуреизм, учивший избегать государственных почестей и общественной деятельности вообще; поэтому эпикуреизм не вызывал у молодого Цицерона симпатии, а у стареющего — заслужил явную вражду и презрение. В области права Цицерон был учеником двух убежденных аристократов консервативно-республиканского типа, правда, отнюдь не сулланцев, но ярых врагов марианцев — авгура Муция Сцеволы и его двоюродного брата, юриста, носившего то же имя; последний был убит по распоряжению Мария Младшего в 82 году, по-видимому, как активный противник популяров. Это тоже не могло не произвести впечатления на юного Цицерона.

Такова общая характеристика той атмосферы, в которой воспитывался Цицерон. Конечно, мы не имеем достаточно фактов, чтобы считать абсолютно доказанными заложенные в нем

с юности консервативные взгляды, но служба в войске Помпея Страбона и быстрый отказ от военной карьеры, длительные годы, проведенные в полной неизвестности, обучение у философа-академика и двух аристократов-юристов и, наконец, оставшееся на всю жизнь преклонение перед «заветами предков», их республиканскими доблестями,— все это обрисовывает образ молодого Цицерона как человека, не столько ставшего на чью-либо сторону, сколько в своей юности, пришедшейся на исключительно бурную эпоху истории Рима, стоявшего в стороне от исторических событий.

Некоторым противоречием к такой консервативной установке является сведение о том, что Цицероном в юности была написана поэма «Марий», что как будто свидетельствует о преклонении перед Марием. Однако противоречие это не так убедительно, как кажется на первый взгляд. Марий ведь был в глазах римского народа отнюдь не только и не в первую очередь вождем популяров, а прежде всего победителем Югурты, кимвров и тевтонов (именно то, что вся слава от победы над Югуртой была присвоена Марию, и было поводом к первому столкновению с Суллой, которому в сущности принадлежала заслуга захвата Югурты в плен). На Цицерона, отнюдь не воинственного, воинские подвиги всегда производили огромное впечатление; этим его впоследствии надолго ослепил Помпей, пока Цицерон не понял, что Помпей совершенно не способен к государственной деятельности. Чувство восторга перед военным героем могло быть особенно сильно в его юности, тем более, что герой Верцелл был тоже уроженцем Арпина и на своей скромной родине пользовался почти что божескими почестями. Юношеская поэма была написана Цицероном до начала собственно гражданской войны, до взаимных проскрипций сулланцев и марианцев, но уже после того, как Марий в свое консульство подавил восстание Сатурнина, т. е. совершил деяние, о котором даже отнюдь не демократически настроенный Моммзен пишет: «Даже более дурной человек, чем Марий, должен был содрогнуться перед той бесчестной ролью, которую он играл в этот день»<sup>2</sup>. Уже будучи консулом, Цицерон восхваляет Мария именно за этот его «подвиг» и называет его великим мужем («За Гая Рабирия» 9, § 29—30).

Кроме того, еще одна черта в судьбе Мария могла особенно привлекать Цицерона; Марий был «*homo novus*» в еще большей степени, чем надеялся быть сам Цицерон; то, что человек может возвыситься не родовитостью, а личными заслугами, было излюбленным тезисом Цицерона в течение всей его жизни, и его республиканский консерватизм не следует отождествлять

<sup>2</sup> Т. Моммзен. История Рима, т. II, М., 1937, стр. 197.

с преклонением перед одним только аристократическим происхождением как таковым. Даже и в поздние периоды своей жизни он с удовлетворением упоминал о том, насколько высоко удалось ему подняться, а ведь он только «*homo novus*»; в молодости это его чувство было особенно остро. И именно как *homo novus* он понимал, что в такую бурную эпоху, в какую ему довелось жить, надо быть очень осторожным и не бросаться без оглядки в водоворот событий. Именно поэтому, восхвалив Марка, он отнюдь не сделал из этого восхваления практических выводов, не примкнул к его сторонникам в 80-е годы и устранился от всякого участия в гражданских смутах.

Однако эта отчужденность от современных событий была не установкой, принятой Цицероном на всю жизнь, а только временной выжидательной позицией. Он отнюдь не собирался прожить весь свой век, не принимая активного участия в общественной жизни и отказаться от прохождения крутой, но почетной лестницы государственных должностей. Он еще через 20 лет (в 61 г.) характеризует себя в письме к Аттику, противопоставляя себя ему (Письма к Аттику I, 17): «Единственным различием между нами является направление нашей жизни, выбранное добровольно тем и другим, — поскольку меня жажда почестей [честолюбие] повела к политической карьере, а тебя твои стремления, отнюдь не заслуживающие порицания, привели к тихой честной жизни частного человека». Действительно, Аттик, который был старше Цицерона на три года, еще во время первого консульства Суллы, будучи только 22-х лет от роду, уехал в Грецию, приобрел имение в Эпире и за всю свою долгую жизнь (он умер при Августе) не занимал ни одной государственной должности; но этот крупный финансист, умевший ладить и с Помпеем, и с Цезарем, и с Марком Антонием, и с Октавианом, играл в действительности не меньшую, а скорее большую роль во внутренней политике, чем Цицерон; недаром Цицерон постоянно то обращается к нему за советами, то просит, а иногда буквально умоляет его приехать в Рим в самые ответственные моменты жизни; недаром в ночь, когда ожидали нападения Катилины на Рим, именно Аттик, никогда не служивший ни в одном войске, с сильным отрядом всадников занял Капитолий. Едва ли Аттик был менее честолюбив, чем Цицерон, но он хотел быть действительным, а не мнимым вершителем судеб Рима и понимал, что без его финансовой помощи ни Антоний, ни Октавиан со всеми их военными талантами и доблестями власти не достигнут и не удержат.

Цицерон хорошо понимал эту мощь Аттика, а свое честолюбие признавал и даже умел иногда подшутить сам над собой (Письма к Аттику II, 17). Упомянув о том, что (по его мнению) даже подвиги Помпея будут оценены потомками ниже его соб-

ственных заслуг, он пишет: «Та доля тщеславия, которая во мне есть — ведь, правда, очень хорошо признавать свои недостатки — получает при этом некоторое удовлетворение»; а прося Аттика помочь своему брату Квинту, назначенному претором в Азию, в которой Аттик пользовался большим влиянием, Цицерон откровенно замечает: «Дорогой друг, так как мы ведь всегда носили в себе пожирающую жажду похвал... то приложи все свое искусство, всю ловкость и действуй со всей возможной энергией, чтобы нас [т. е. обоих братьев] всюду любили и хвалили» (Письма к Аттику. I, 15). Честолюбие, несомненно, было присуще характеру Цицерона с юных лет.

Другая, столь же типичная для него черта отмечена им самим в уже приведенной цитате из речи за Росция Америйского — это желание «*ut componeretur*», желание решить все конфликты мирным путем, не прибегая к оружию; он любил только словесную борьбу, принимал горячее участие в сенатских прениях, но его идеалом оставался всегда «*consensus*»; даже в самые отчаянные времена вражды с Клодием он думал, что игрой слов, шуткой, иногда даже очень поверхностной, он победит своего непримиримого противника; необходимости и неизбежности борьбы, столкновения интересов он, по существу, не понимал, и мнимое равновесие «героической эпохи» республики навсегда осталось для него желанной и несбыточной мечтой; эта черта, которую можно назвать в хорошем смысле миролюбием, а в дурном — соглашательством, тоже была присуща характеру Цицерона с молодости. Отчасти именно от нее зависит и та впечатлительность, доверчивость и склонность к переменам настроения, которые отличают Цицерона во всей его жизни.

Между тем, как и честолюбие, и миролюбие могли принести и приносили Цицерону то удачи, то неудачи и побуждали его то к хорошим, то к дурным поступкам, одну его черту надо оценить как безусловно положительную: он был честен в денежных делах. В то время, когда вокруг него почти не было честных людей, когда процессы «о подкупе» (*de ambitu*) и «о вымогательстве» (*de pecuniis repetundis*) составляли постоянное занятие всех судебных коллегий, на Цицерона не только никогда не было подано обвинения, но даже не возникало подозрения в его честности. Ему удалось пройти весь свой путь, не запятнав себя нечестностью ни в затруднительных званиях квестора и эдила, ни при нежелательном для него проконсульстве в Киликии; постоянно страдая от неустройства своих личных финансовых дел, он никогда не посягал на имущество государства. Только твердо заложенные в юности убеждения могли сохраниться в такой обстановке, в какой ему пришлось жить, и, вероятно, отчасти они-то и не допустили его принять

участие в гражданской войне на стороне сулланцев. Характерно, что именно грабительство сулланцев-победителей вызвало резкие высказывания в первых речах Цицерона (хотя эти речи, как мы увидим ниже, имели и политический характер, несколько, впрочем, иной, чем обычно полагают).

С такими заложенными в юности взглядами и убеждениями, одаренный блестящими ораторскими способностями, прекрасно образованный, с широким, но не слишком глубоким интересом к философии и наукам, вступил молодой Цицерон на судебное поприще после окончательного разгрома марианцев, во время мнимого замирения под диктатурой Суллы при господстве установленной им конституции.

## *Глава II*

### **ПЕРВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЦИЦЕРОНА**

(81—78 г. до н. э.)

Процесс постепенного уравнивания в правах между сенаторским и всадническим «сословиями», начавшийся уже с половины II в. до н. э. и поддержанный рядом законов, принятых по предложению Гая Гракха, был резко прерван диктатурой Суллы и той конституцией, которую он насильственно провел, запугав своими проскрипциями и конфискациями все население не только самого города Рима, но и всей Италии. От проскрипций пострадали в первую очередь именно всадники, как наиболее богатая часть населения; однако и сенаторам-землевладельцам, имения которых представлялись заманчивой добычей для ветеранов и фаворитов Суллы, пришлось немало поплатиться за пребывание в Риме во время господства марианцев. Если бы Сулла раздавал землю только своим заслуженным в бою воинам, то это имело бы некоторое оправдание; но огромное количество земельных участков попало в руки людей, не имевших на них ни малейшего права; дело в том, что земли, конфискованные после казни или изгнания владельцев, не распределялись организованно какой-либо государственной комиссией или самим Суллой, а пускались в продажу с торгов, где их за бесценок покупал любой, кто мог сейчас же внести деньги в обедневшую казну; нередко земли захватывались за взятки или по личному соглашению, нередко ими завладевали враги погибших, жадные соседи или недоброжелательные родственники; наконец, к войску победоносного полководца примкнуло много людей, просто жаждавших наживы любыми средствами.

В первое время после взятия Рима Сулла казнил и миловал исключительно по собственному усмотрению, и только явный ропот в сенате заставил его опубликовать (вывесить на фору-

ме) списки проскрибированных; уже эти списки были достаточно устрашающими — 2400 всадников и 400 сенаторов было перечислено в них; но на этом дело не кончилось, так как в дальнейшем, возможно, даже без ведома Суллы, его приближенные стали задним числом в списки вносить имена неугодных им лиц, завладеть богатством которых было соблазнительно. Регулярные суды по этим делам не работали вообще. Реформа регулярных постоянных судов, проведенная Суллой, была всецело направлена против всадников, на которых особенно обрушился гнев Суллы, м. б. за финансирование ими войск Мария (со времен Гая Гракха суды находились в руках всадников, Сулла же передал их исключительно сенаторам).

Как этот, так и многие другие пункты сулланской конституции производят впечатление мероприятий, проведенных исключительно в интересах нобилитета; казалось бы, представители древних патрицианских родов должны были с восторгом принять его конституцию и всемерно поддерживать ее; на деле вышло не так. Всего через восемь лет после смерти Суллы от его конституции не осталось и следа: был восстановлен народный трибунат, цензура, а суды стали составляться поровну из трех имущественных групп населения — сенаторов, всадников и эрарных трибунов (так сказать, городского мешанства). И все это произошло без большого сопротивления со стороны аристократии, поскольку это было воспринято не как новаторство, а, напротив, как возвращение к старому установленному порядку. Почему так произошло, можно предположить по следующим фактам: казнив и ограбив немало сенаторов, Сулла «пополнил сенат» своими людьми: он ввел в сенат значительное число (500 человек) своих приверженцев; через 12 лет из тех, кто дожил до этого времени, в 70-м году (в консульство Помпея и Красса) были исключены 64 человека как слишком ярые сулланцы, притом запятнавшие себя разными позорными поступками. Из кого состояло это «пополнение сената», нам поименно неизвестно, но весьма возможно, что среди новых сенаторов было немало лиц, с которыми представителям древних патрицианских родов было весьма неприятно сидеть рядом. Кроме того, известно, что Сулла, отпустив на волю несколько тысяч рабов, сделал из них свою личную охрану и дал им свое родовое имя «Корнелиев»; правда, все вольноотпущенники в Риме принимали родовое имя отпустившего их владельца, так что один только этот факт не мог быть оскорбителен для патрициата, но огромное число отпущенных рабов и создание «лейб-гвардии» диктатора было вообще опасным прецедентом, грозившим насильем и уничтожением привилегий аристократии. Огромная власть и влияние, которым пользовались ветераны, приближенные и фавориты Суллы, были оскорбительны для членов тех

семей, которые уже несколько веков играли первые роли в сенате и магистратурах, а теперь были лишены возможности быть законно избранными на комициях и были вынуждены подчиниться личному произволу диктатора.

Таким образом, конституция Суллы с политической точки зрения отнюдь не была, так сказать, «однозначной»; в ней под видом мероприятий, идущих на пользу аристократии, проводился новый принцип — централизации государственной власти,— принцип, необходимость которого уже давала себя чувствовать в связи с огромным расширением границ римского государства<sup>3</sup>. Но Сулла взялся за задачу создания централизованного государственного строя слишком рано и слишком жестоко. Понадобилось еще почти 100 лет борьбы и гражданских войн, вознеслись на высоту власти и погибли Помпей, Цезарь, Брут и Марк Антоний, прежде чем под скромным названием принципата с сохранением многих формальных пережитков республиканского строя Октавиан Август установил свое фактическое единовластие.

От 80-х годов до нас дошли две речи Цицерона. Одна касается не очень важного гражданского иска по поводу незаконного захвата земельного участка в Галлии неким Невием; пострадавшим был частный землевладелец, Публий Квинкция; по-видимому, ответчик был лицом небезызвестным, поскольку в качестве его защитника выступил уже знаменитый в то время оратор Гортенсий; адвокатом же Квинкция был при первом разборе дела Алфен — «римский всадник, богатый и уважаемый» («За Публия Квинкция» 19, § 62), а при окончательном разборе дела молодой Цицерон.

Вторую речь Цицерон произнес по делу уголовного характера: один состоятельный, принадлежавший к муниципальной знати пожилой человек, Росций был убит в Риме в 80 г. и внесен задним числом в списки проскрибированных; имение его купил за ничтожную сумму вольноотпущенник Суллы грек Хрисогон; сын убитого был лишен крова и имущества и наконец обвинен в отцеубийстве двумя своими родственниками, которые (по утверждению Цицерона) являлись орудиями в руках того же Хрисогона. Оба эти дела, столь различные по содержанию, важны для установления некоторых данных биографии Цицерона, несомненно связанных между собой: первое дело Цицерон взял на себя по просьбе известного актера, у которого Цицерон учился искусству речи; актер этот носил имя Росция и был вольноотпущенником кого-то из рода Росциев, возможно того старого Росция, который был убит в Риме; поэтому второе вы-

<sup>3</sup> Недаром Сулла был первым, кто попытался упорядочить судопроизводство, составив некоторое подобие «свода законов».

ступление Цицерона за молодого Росция, обвиняемого в отцеубийстве, вполне естественно примыкает к первому его «делу», которое, вероятно, закончилось удачно, раз ему поручили выступать вторично по делу, связанному с тем же родом Росциев, но несравненно более важному: ведь исход его угрожал уже не потерей земельного участка ничем не известному шурина вольноотпущенника Росциев, а позорной смертью единственному наследнику убитого, крупного землевладельца Америкии.

Вопрос в том — кем же было поручено ведение этого дела молодому и ничем еще не отличившемуся адвокату? Если в первой речи Цицерон открыто называет актера Росция как своего «работодателя», то во второй речи он, не называя ни одного имени, говорит с самого начала речи следующие многозначительные слова: «Это — мои лучшие друзья, мои величайшие благодетели и почтеннейшие люди; оставить без внимания их благосклонность, не оказать уважения их достоинству, презреть их покровительство — было бы преступлением» («За Росция Америкийского» 1). Они настолько знамениты и известны, что не могут позволить себе сказать что бы то ни было критическое по адресу не только Суллы (мы увидим, что на это, конечно, не решается и Цицерон), но и его фаворитов и самой системы судопроизводства; «это стало бы немедленно известно и не было бы прощено им так легко» (т. е. не сошло бы им с рук). Хотя Цицерон не называет своих патронов по имени, но из дальнейшего вполне ясно, о ком идет речь: во время суда несчастный обвиняемый, Секст Росций, жил в доме и пользовался покровительством некоей матроны Цецилии, принадлежавшей к крупному, хотя и плебейскому роду Цецилиев, одна ветвь которого — Метеллы — играли уже около 200 лет крупную роль в политике; старый Росций, отец обвиняемого, был в свое время «одним из первых в своем округе, как по родовитости, так и по богатству, и был известен своей дружбой со знатнейшими людьми; между ним и Метеллами, Сервиями и Сципионами... было не только близкое знакомство, а теснейшая связь, как между родными» («За Росция Америкийского» 6, § 15).

Совершенно ясно, что когда сыну убитого стала грозить страшная опасность, когда он был лишен и имущества и всяких средств защиты, друзья отца вступились за него; но, не имея возможности и боясь выступить сами, они наняли никому не известного, начинающего адвоката; молодой homo novus из провинциальных всадников, очевидно, был наиболее удобной, так сказать, подставной фигурой в этом процессе; он должен был по чужому поручению стать в известную оппозицию к господствующему режиму. Однако, вопреки распространенному мнению о связи выступлений Цицерона с взглядами разбитых наголову популяров, более вероятным представляется другое

предположение — эта оппозиция сулланской диктатуре шла в данном случае не из демократических кругов, а, напротив, со стороны части нобилитета, приверженцев сенатско-республиканского строя, который потерял свое многолетнее влияние; именно Цецилии Метеллы, пользовавшиеся и ранее большим весом в государстве, вернули себе свое положение после восстановления республиканского строя. Цицерон оставался с представителями этого рода в хороших отношениях в течение многих лет; размолвка с одним из Метеллов, сенатором Метеллом Непотом, произошла лишь через 20 лет, в 62-м году, когда срок консульства Цицерона истек; Метелл Непот, председательствовавший в этом году в сенате, не дал Цицерону произнести заключительную речь, в которой консул обычно подводил итоги своего правления; жестоко оскорбленный Цицерон позволил себе выпады против него и, по-видимому, задел и его брата, Метелла Целера, командовавшего в это время легионами в Галлии; Метелл Целер, в свою очередь, обиделся на Цицерона и написал ему довольно резкое письмо («К близким» V, 1); в ответе ему («К близким» V, 2) Цицерон оправдывается и даже отчасти признает себя виновным в излишнем самолюбии. Вскоре состоялось полное примирение, и впоследствии Цицерон не раз отзывался о Целере с похвалой. Однако эти отношения не были в полном смысле слова «дружбой». В письмах Целера к Цицерону заметен несколько покровительственно-высокомерный тон, каким и мог говорить представитель мощного рода с *homo novus*, выдвинувшимся благодаря некогда оказанному ему покровительству. В дальнейшем дружба Цицерона с Метеллам должна была нарушиться, так как Целер был женат на Клодии из древнего патрицианского рода (воспетой Катуллом Лесбии), сестре самого ярого врага Цицерона — Клодия Пульхра. Репутация и сестры, и брата оставляла многого желать, и Цицерон не раз использовал свое остроумие в нападках на них, что едва ли могло быть очень приятно Метеллам; правда, самое жестокое выступление Цицерона против Клодии (в речи «За Целия») имело место уже после смерти ее мужа Метелла Целера, по-видимому, ею же отравленного.

Об отсутствии связи Цицерона с остатками марианцев в 80-е годы говорит и один из его выпадов против его противника Невия (в речи за Публия Квинкция); в качестве главного аргумента против Невия Цицерон выдвигает именно его прежние симпатии к марианцам. В своем ответе Невий сделал промах, взяв под подозрение свидетельство Алфена, в это время уже погибшего, на том основании, что тот был марианцем и что его имение было конфисковано и продано с аукциона (причем куплено тем же Невием). Цицерон обращает оружие против самого Невия:

«Ты говоришь,— он принадлежал к той партии? Да разве могло быть иначе? Ведь он вырос у тебя в доме, ведь ты сам внушал ему с малых лет не сочувствовать ни одному аристократу. У тебя приятелем был пристрастный судья Бурриен и вообще все, кто в те времена могли сделать путем насилия и преступлений весьма многое и что могли, то и делали (*qui tum et poterant per vim et scelus plurimum, et, quod poterant, id audebant*). Или ты, может быть, желал победы тем, которые горячо стараются сегодня о твоей победе? Попробуй-ка сказать это хотя бы только на ухо тем лицам, которые защищают тебя» («За Публия Квинкция» 21, § 69). «Скажу одно: если Алфен и имел силу, как приверженец известной партии, то Невий был гораздо сильнее его; если Алфен, надеясь на свое влияние, и требовал чего-либо несправедливого, то еще несправедливее было то, чего требовал и достигал Невий... Алфен погиб с теми и за тех, кого любил; ты же, убедившись, что твоим друзьям не быть победителями, сделал победителей своими друзьями» («За Публия Квинкция» 22, § 70).

Едва ли мог в таком тоне говорить о временах господства марианцев тот, кто имел к ним симпатию.

Вследствие своеобразия римского судебного процесса, в котором роли обвинителя и защитника не были так четко отделены одна от другой, как в современном суде, речь Цицерона нельзя назвать всецело защитительной. В процессе Росция Америкского он не очень много говорит о самом обвиняемом, невиновность которого доказывается кратко одним и впоследствии излюбленным приемом Цицерона, заимствованным им, по его словам, у известного оратора старшего поколения Луция Кассия, а именно — преступление совершено тем (или теми), кому оно могло принести выгоду,— оно было выгодно Хрисогону и двум его подручным (из тех же Росциев) и невыгодно сыну убитого. Наиболее же важные и пылкие части выступления посвящены двум моментам: во-первых, неправильностям судопроизводства и возможности пристрастного решения судей, во-вторых,— протесту против произвола временщика Хрисогона (о неправильном ведении судебного процесса Цицерон говорит и в речи за Публия Квинкция).

Однако не только защита Росция интересовала Цицерона. Он использовал свое выступление для нападок на сенаторский суд. Самые первые слова этой речи заключают в себе по существу критику той формы правосудия, с которой ему приходится иметь дело: «Две сильнейшие пружины государственной жизни — протекция и красноречие — действуют сегодня обе против нас» («За Публия Квинкция» 1, § 1). Цицерону предстоит бороться «*contra vim et gratiam*», т. е. против насилия и потворства; слово «*gratia*» употреблено, несомненно, в дурном смысле.

О законе и законности во всей речи нет ни слова; Цицерон высказывает только надежду, что победит «истина»: «...нет, не всего, как думаете вы, можно добиться красноречием; есть черты истины, которые неотразимо выявляются, несмотря на любое противодействие» («За Публия Квинкция» 26, § 80). Открытых судебных процессов во время диктатуры Суллы почти не было, и Цицерон решается высказать только надежду на то, что суд покажет себя достаточно беспристрастным и вступится за права обижаемого подсудимого. Обращаясь к судье, Гаю Аквиллию, Цицерон говорит: «Тебе и твоим советникам следует тем более благосклонно выслушать мои слова, что истина, пострадавшая от столь многих злоключений, должна быть восстановлена справедливостью таких мужей. Если же и ты, судья, не окажешься надежным защитником покинутых и слабых против насилия и протекции, и если и в этом учреждении дела будут решаться силой, а не правдой, то поистине в государстве не останется ничего святого, ничего надежного и не будет места, где достоинство и доблесть судьи могли бы поддержать слабого. Несомненно, и для тебя, и для твоих помощников истина будет значить более, чем все другое; если она будет изгнана насилием и протекцией и отсюда, то ей уже нигде не найти пристанища» («За Публия Квинкция» 2, § 85). Цицерон, правда, немедленно оговаривается, что он обращается к судье с такими словами не потому, чтобы он сомневался в его «надежности и стойкости», но он, конечно, именно в ней и сомневается.

В том же духе выступает Цицерон и в своей речи за Росция Америкейского; он опять выражает надежду на беспристрастие судей, обращаясь к их чувству собственного достоинства: «Как? — говорит он, — На людей, которые за свои достоинства из рядовых граждан стали сенаторами (по-видимому, Цицерон подразумевал сулланское «пополнение сената»), а за свою справедливость назначены на должность судей, на этих людей гладиаторы и убийцы могут возлагать надежду не только остаться безнаказанными, но и вернуться домой, неся добычу, полученную ими от ограбления С. Росция?» («За Росция Америкейского» 3, § 8). «Я прошу вас, судьи, прислушайтесь к моим словам внимательно и благосклонно. Полагаясь на ваше беспристрастие и благоразумие, я взял на себя более тяжелое бремя, чем я, пожалуй, могу снести» («За Росция Америкейского» 4, § 10).

Еще более резко Цицерон выступает против Хрисогона. То он патетически обращается как бы к нему лично: «Умоляем тебя, Хрисогон, довольствуйся нашим имуществом, не требуй пашей крови!» То он пользуется иронией: «Хрисогон думает, что пока жив Секст Росций, он, Хрисогон, не может спокойно пользоваться этим имуществом и поэтому просит вас, судьи,

избавить его от этого страха... и даже поддержать его во владении этой его добычей, несправедливо им захваченной» («За Росция Америкейского» 2, § 6).

В своих отрицательных отзывах о Хрисогоне и еще более о двух грабителях Росциях — Магне и Капитоне Цицерон выражается смело. Относительно же Суллы он, конечно, не раз оговаривается, что не считает его ни в какой мере виновным в тех несправедливостях, которые творятся вокруг него: «Я знаю наверное, что Сулла ничего обо всем атом не знал...» («За Росция Америкейского» 8, § 21). «Хрисогон, конечно, по привычке дурных и бессовестных вольноотпущенников, постарается свалить все это на своего патрона, но напрасно; ведь слишком хорошо известно, сколько людей совершали различные поступки без разрешения Суллы, который, будучи занят важными делами, не хотел знать обо всем, да и не мог» («За Росция Америкейского» 45, § 130). Далее Цицерон сравнивает Суллу с Юпитером, которому люди приписывают все благое и полезное — воздух, свет, но которого не обвиняют за существование стихийных бедствий — гроз, холода и жары: «Нам нечего удивляться, что человек не может сделать того, чего не может сам бог» («За Росция Америкейского» 45, § 131).

О том, что Цицерон в речи за Росция говорил, хотя и не слишком ясно, о своих симпатиях к делу аристократии во время гражданской войны, было сказано выше (см. I гл.). Однако к признанию этих симпатий он решается присоединить и некоторое, правда, довольно слабое, личное выступление со своих собственных позиций, как всадник и homo novus. «Я, сознаюсь, стоял на этой стороне. Но если целью, ради которой взяли за оружие, было то, чтобы люди из подонков общества (разумеются Хрисогон и подобные ему, а м. б. и отпущенные рабы Корнелии) имели возможность обогащаться чужим добром,... то исход этой войны пошел не на благо государству, а на беду и угнетение. Но это не так: этого нечего бояться, судьи, если вы положите предел действиям этих людей, то аристократия не только не будет оскорблена, но будет этим самым больше прославлена» («За Росция Америкейского» 47, § 137).

Несколько смелее звучит его краткое замечание, в котором он решается уколоть аристократию за презрение к его сословию, к всадникам: «Те, кто не хотел терпеть возвеличения всадников, терпят власть презренного раба». Рассказывая также о несправедливом судебном приговоре претора Долабеллы, который не разобрал основательно дела Квинкция, Цицерон говорит: «Долабелла как истинный аристократ поступил так легкомысленно, что наш брат (т. е. простой человек) даже не может себе этого представить» («За Росция Америкейского» 8, § 31). В этих беглых высказываниях, как в зародыше, лежит то, что Цицерон

впоследствии развертывает не раз в многословные агитационные тирады (особенно в вводных речах к процессу Верреса) — требование вернуть суды всадникам и том самым допустить их снова к участию в государственных делах; но подлинным и искренним выступлением против господства «благородных», выступлением, с демократических позиций развитых марианцев, их считать ни в коем случае нельзя. Как мы увидим далее, Цицерон всегда стоял только за дележ власти и за соглашение и компромисс между двумя сословиями состоятельных людей; а в том вопросе, который был наиболее острым для неимущих, в вопросе аграрном, он всегда обнаруживал не только непонимание важности его, но и характерное упорство и жадность представителя имущих сословий.

Как ни старался Цицерон смягчить свое оппозиционное выступление против диктатуры Суллы вышеприведенными оправданиями диктатора, оно все же, очевидно, дошло до слуха Суллы и вызвало его недовольство; иначе трудно объяснить, почему Цицерон, уже учившийся так долго ораторскому искусству и уже начавший выступать, и, по-видимому, с успехом (кроме этих двух речей, мы имеем сведения о процессе, о котором упоминает сам Цицерон в речи за Цецину, касавшемся права гражданства одной жительницы городка Амитерна, против известного юриста Аврелия Котты), вдруг в 26 лет покинул Рим; два года он прожил в Греции, М. Азии и на Родосе, вернулся в Рим лишь после отказа Суллы от власти и незадолго до смерти Суллы. На какие средства жил Цицерон эти два года, когда он и путешествовал, и обучался у лучших учителей, неизвестно; никаких упоминаний об этом времени в дошедших до нас речах и письмах не имеется; мы можем только предполагать, что это не могли быть доходы от его маленького родового поместья в Арпине, которые он еще должен был делить с братом Квинтом; вернее всего, что те представители оппозиционной знати, которые его выдвинули в качестве защитника Росция и ради покровительства которых он мог навлечь, а может быть, и навлек на себя гнев всемогущего диктатора, дали ему в той или иной форме (оплаты за речи, гостеприимства у друзей в Греции и на Востоке и т. п.) возможность просуществовать два года, не только не зарабатывая на жизнь, а даже платя за расширение круга своих знаний. Возможно, что и Атик, с которым Цицерон возобновил прежнее «школьное» знакомство в Афинах, принял в этом участие. Однако это только предположение. Известно только то, что через два года Цицерон вернулся в Рим отнюдь не лишенным средств, обзавелся семьей, а еще через три года (в 75 г.) вступил на первую ступень долгой лестницы государственных должностей: он стал квестором в Сицилии. От этого периода до нас дошла только незначительная речь

(притом не целиком) по гражданскому иску (за актера Росция, с которым Цицерон, очевидно, остался в хороших отношениях Датировка этой речи, впрочем, является спорной). Следующим его выступлением, имевшим явно политическое значение, были знаменитые речи против Верреса.

### *Глава III* ПРОЦЕСС ВЕРРЕСА

Выступление Цицерона в качестве обвинителя было для него необычным; несмотря на то, что в римском суде функции обвинителя и защитника не были разграничены и обвинителем мог выступить любой римский гражданин, ораторы-специалисты чаще выступали с защитительными речами. Цицерон свое первое выступление по делу Верреса начинает прямо с заявления, что «при своей многолетней практике по гражданским и государственным делам он всегда только защищал других людей и никогда никого не обвинял» («Дивинация против Цецилия» 1).

Цицерон взялся за это дело с огромным рвением и не только потому, что пожалел сицилийцев и хотел прославить себя своим красноречием в новой роли обвинителя, а потому, что политическая обстановка в 70-м году была крайне благоприятной для обвинения Верреса и использования этого процесса в интересах всаднического сословия. Поэтому речи против Верреса интересны не только как доказательство того, насколько более блестящим и в то же время более основательным судебным оратором стал Цицерон за те 10—12 лет, которые прошли со времени его первых выступлений; эти речи являются важным политическим документом и, так сказать, агитационным памфлетом в пользу передачи судов из рук сенаторов в руки всадников.

Речи против Верреса дают богатый фактический материал для политической истории того десятилетия, в течение которого шаг за шагом разрушалась конституция Суллы. На 70-й год консулами были избраны Помпей и Красс, старавшиеся заслужить благоволение народа,— и, в первую очередь, всадников — возвращением к прежнему государственному строю. В течение 70-го года ими был восстановлен народный трибунал и по предложению Аврелия Котты принят закон о судах, построенный на известном компромиссе; сенаторы не были отстранены от судопроизводства вовсе, как это было до Суллы, начиная с реформ Гая Гракха, и что было более всего желательно для всадников; суд должен был состоять из представителей трех групп — одна треть из сенаторов, вторая из всадников, третья из эрарных трибунов (граждан, по имущественному цензу приближавшихся

к всадникам). Эти реформы едва ли могли быть проведены без всякого сопротивления со стороны оставшихся в живых приверженцев Суллы, и важно было поддержать общественное мнение в пользу этих реформ; тем более, что на следующий 69-й год перспективы не были благоприятны для всадников; «намеченными» консулами (*consules designati*) летом 70-го года были избраны Гортенсий, известный оратор и ярый аристократ, и Метелл Кретик, личность незначительная; и претор, и наместник Сицилии были намечены из той же фамилии Метеллов — два родных брата будущего консула. Метеллы в это время сыграли, по-видимому, двойственную роль — сопротивляясь диктатуре Суллы, они, после окончания ее, твердо стали на сторону нобилитета и сената. Поэтому с реформами и с агитацией в пользу их надо было спешить и в качестве удобного случая важно было использовать процесс Верреса; Веррес надеялся и на связи, и на подкуп; оправдательный приговор ему при его явных преступлениях был бы полным дискредитированием сенатского суда. Этот благоприятный момент надо было использовать, и, как в процессе Росция Америкского, удобным орудием анти-сулланских группировок явился красноречивый молодой оратор Цицерон. И вот теперь, когда можно было в полный голос выступить в пользу всадников, его уже более зрелое красноречие было пущено в ход и, если не только оно привело к желанному результату, то во всяком случае содействовало ему. Для личного возвышения Цицерона участие в громком процессе тоже было выгодно, так как летом 70-го года он выставил свою кандидатуру на должность эдила, которую он и получил на выборах в июле.

Дело Верреса должно было слушаться в двух сессиях суда<sup>4</sup>, однако Цицерон не стал проводить на первой сессии подробного допроса свидетелей, ограничившись своей краткой обвинительной речью (*actio prima*). Эффект был сильный и может быть даже неожиданный для самого обвинителя и его сторонников: Веррес немедленно после этой вводной речи добровольно удалился в изгнание и дело было выиграно, еще, в сущности, не начавшись. Тем не менее все речи, подготовленные Цицероном ко второму разбирательству, сохранились полностью и являются важным историческим памятником и в то же время художественным произведением.

Последователями нередко высказывался взгляд, что Цицерон в этих речах «стрелял из пушек по воробьям», что издание этих речей было просто удовлетворением его честолюбия и не принесло никакой пользы: ведь восстановление трибуната и рефор-

ма судов были бы и без них произведены консулами Помпеем и Крассом и первым трибуном Аврелием Коттой. Едва ли этот взгляд верен: подготовка к процессу Верреса и проведение этих реформ шли одновременно и параллельно и нельзя представить себе, чтобы в городе, бурно принимавшем участие во всех событиях на форуме, они воспринимались как два явления, друг с другом совершенно не связанные. Едва ли и Цицерон, собравший в Сицилии такой богатейший обвинительный материал против сенатских судов и сулланских ставленников, подобных Верресу, молчал до 5-го августа и не обратил того, что уже было у него в руках, как на пользу выгодных для всадничества реформ, так и на свою собственную пользу — как агитационный материал к своим выборам в эдилы. Распространение — даже еще и не в окончательной обработанной форме — таких ярких, насыщенных фактическим материалом обвинительных актов против сенатских судов должно было сыграть и, несомненно, сыграло большую роль в формировании общественного мнения. По всей вероятности, именно эта общая широкая подготовка к осуждению Верреса, а не краткая речь Цицерона на заседании 5-го августа и решила вопрос: Веррес заранее увидел безнадежность своего дела, хотя в двух действительно произнесенных речах Цицерона по делу Верреса — в *Divinatio in Caecilium* и в *Actio prima* — очень мало говорится о самом Верресе и очень много о ненадежности и подкупности сенатских судов. Под этим углом зрения их следует рассмотреть.

Документальное доказательство этого положения путем приведения всех цитат из этих двух речей, а также из последних глав пятой речи против Верреса, подводящих итоги всех обвинений, равнялось бы цитированию этих речей по главам, что и невозможно и нецелесообразно. Достаточно наметить те главные направления, по которым Цицерон ведет свою атаку.

Свою первую речь при отводе Цецилия Цицерон произнес в самом начале консульства Помпея и Красса; политическая ситуация была еще не очень ясна, ни один решающий законопроект не был внесен, и Цицерон выражается еще довольно осторожно; он упоминает лишь о «требованиях и желаниях», притом не от имени народа, а от имени тех, кто выступает не против сенатских судов вообще, а только против злоупотреблений в этих судах.

«Лица, желающие, чтобы судебная власть оставалась в руках сенаторов, жалуются на недостаток обвинителей, достойных этого звания: лица, могущие выступить обвинителями,— требуют более строгих судов; в то же время и римский народ, несмотря на испытываемое им множество несчастий и невзгод, желает всего более восстановления в государстве старых судов

<sup>4</sup> О фактической истории процесса см. ниже, стр. 81—83.

во всей их силе и значении. В видах улучшения судов он требует возвращения ему трибунской власти; вследствие небрежного отношения судов к приговорам он требует теперь, чтобы отправление правосудия было поручено другому сословию; вследствие преступного, позорного поведения судей даже должность цензора, с которой народ привык раньше соединять представление о чем-то грозном, в настоящее время становится уже предметом желанья, становится чем-то популярным и отрадным... при том недоверии, с которым относятся к сенаторам, я прихожу к убеждению, что единственное средство, могущее спасти от многих бедствий, состоит в том, чтобы люди способные и честные явились мстителями за государство и поправленные законы, и вследствие этого могу сказать по правде, что я выступил ради общего блага, чтобы облегчить бедствия государственного тела там, где всего сильнее его страдания» («Дивинация против Цецилия» 3).

Как видно, Цицерон не уверен еще в успехе и говорит в общих тонах о «людях способных и честных», не указывая на то, что такими он считает всадников. Однако свою речь он заканчивает почти прямой угрозой:

«Но знайте одно: если вы предпочтете мне Кв. Цецилия, то не я сочту это поражением для своей честности, а вам придется беспокоиться о том, что римский народ выведет заключение, будто слишком честное, слишком строгое, слишком добросовестное обвинение показалось неудобным вам и кажется такowym же вашему сословию» («Дивинация против Цецилия» 22).

Цицерон еще является кандидатом на должность эдила и обещает выполнить все обещания, данные им римскому народу. «В его руках почеть, к которой я стремлюсь, в его руках надежда, которая меня оживляет, в его руках мое доброе имя, которое я приобрел ценою долгих трудов, сильного напряжения, многих бессонных ночей...» («Дивинация против Цецилия» 22).

Значительно смелее звучит выступление Цицерона после избрания в эдилы. Он открыто говорит о подкупности сенаторов и о попытках Верреса подкупить и судей и самого Цицерона, о происках Верреса против выборов Цицерона в эдилы:

«Чтобы вы могли знать, как дурно он [Веррес] думает обо всех «добрых», до какой степени испорченными считает он сенаторские суды, я приведу вам его собственные слова... «я пока купил время судопроизводства, в ожидании возможности без труда купить и остальное». («Против Верреса», Actio I, 3).

...Он обещал дать немедленно столько денег, сколько с него потребуют, с условием, чтобы провалили мою кандидатуру на должность эдила (Actio I, 5).

...римский народ от чистого сердца принял меры к тому, чтобы человек, богатства которого оказались бессильными совра-

тить меня с прямого пути, не мог отстранить меня от занятия общественной должности» («Против Верреса», Actio I, 9).

Цицерон, однако, считает необходимым говорить так, чтобы не слишком оскорблять сенаторов — он надеется и сам стать сенатором, и с гордостью упоминает о том, что он будет говорить с римским народом уже с роостр:

«...я, сопровождаемый горячим расположением и участием римского народа, выступил обвинителем не для того, чтобы увеличить то предубеждение, которое существует против вашего сословия, но чтобы защитить его от обвинения, одинаково затрагивающего честь всех» (Actio I, 1—2).

Более того, он предостерегает сенаторов от опасности, которая им угрожает, если они поддадутся на уловки Верреса, и, напротив, указывает им на возможность очистить себя от всяких подозрений, осудив Верреса, — сами боги дают им удобный повод для этого:

«В то самое время, когда вашему сословию и вашему званию, как судей, угрожает опасность, когда вы видите во всеоружии ваших противников, старающихся посредством сходов и законопроектов разжигать эту ненависть народа к сенату, перед судом предстает человек, заранее осужденный, если судить по мнению всех, заранее оправданный, если судить по его собственным надеждам и самоуверенным словам, благодаря его огромному богатству» (Actio I, 1—2).

Далее Цицерон переходит к открытому обвинению судей в подкупности и говорит все более смело, угрожает сенаторам и уже прямо восхваляет время всаднических судов:

«Я не ограничусь намеками, а разберу с приведением фактов все несправедливости и гнусности, допущенные в судах с тех пор, как они были поручены сенату. Я объясню римскому народу, почему в то время, когда судьями были всадники, в продолжение почти 50 лет сряду никто из судей не подвергся даже малейшему подозрению в подкупе; и почему, когда суды были отданы сенаторам, когда у римского народа отняли власть, которую он имел над каждым из вас»... (следует ряд примеров подкупа сенаторских судов — Actio I, 13, § 38).

И наконец он говорит уже о чисто политических мерах консулов и указывает на связь этих мер и законопроектов с коренной реформой судов:

«Вам дается свыше случай избавить все ваше сословие от ненависти, вражды, позора и беславия. Нет больше веры в строгость судей, в их честность, наконец, в самое существование суда. Римский народ относится к нам с презрением, на нас лежит пятно глубокого и долгого беславия. Именно поэтому потребовал так настоятельно римский народ восстановления власти трибунов. Когда он требовал ее, он на словах желал ее вос-

становления, на деле же требовал судов. ...когда сам Г. Помпей в качестве назначенного консула [в 71 г.] впервые обратился с речью к народу [вне города, так как Помпей ждал триумфа] и, полагая, что он этим ответит живейшим желаниям присутствующих, дал понять, что намерен восстановить трибунскую власть, его слова вызвали лишь легкие рукоплескания и одобрительные возгласы. Но когда он на той же сходке сказал, что грабят и притесняют провинции, что судьи ведут себя дурно и позорно и что он желает принять меры к прекращению этого зла,— тогда римский народ выразил свое согласие уже не рукоплесканиями, а громовым криком» (Actio I, 15, § 45).

Когда именно Цицерон опубликовал свою произнесенную речь (из 5 частей) точно не известно, но из некоторых слов в пятой, заключительной, части видно, что он предполагал произнести ее еще до окончательного принятия законопроекта Котты о новом составе судов. Резко выступая против Гортенсия, который должен был защищать Верреса, он говорит, что Гортенсию следовало бы опасаться выступать «в такое время, когда римский народ хочет, чтобы должность судей была передана совсем другим людям, другому сословию, с помощью законопроекта об улучшении судопроизводства и назначении новых судей» (Actio II, V, 69, § 177).

Снова и снова он угрожает судьям:

«Если кто-либо из вас запятнает себя несправедливостью, то римский народ будет судить тех, кого он уже и раньше считал недостойными должности судей; или это сделают те, кто вследствие ненадежности прежних судов с помощью нового закона будут назначены новыми судьями и будут судить прежних» (Actio II, V, 69, § 178).

Однако в победе всадничества Цицерон уже уверен и начинает совершенно открыто и даже с тем хвастовством, которое было не чуждо ему во все периоды жизни, выставлять себя как *homo novus* и противопоставлять родовой аристократии. Он в восторженном тоне говорит даже о трибунской власти, к которой он, по существу, относился вовсе не слишком сочувственно и с которой довольно скоро столкнулся; но в данный момент он полон торжества по поводу победы, либо уже одержанной, либо ожидающейся в ближайшее время, и не может обойтись без самовозвеличения:

«Утвердиться в обладании теми почетными должностями, которые римский народ вручает кому-либо, стоит не меньшего труда, чем достигнуть их. Мы терпели ваш деспотизм в судах и во всех ваших распоряжениях. Да, мы его терпели. Но вся эта власть в тот день, когда был восстановлен трибунал.— если вы еще этого не знаете,— у вас отнята и отобрана... О каждом из нас, кто хотя бы немного уклонится от истины, народ будет

судить уже не втихомолку,— чем вы до сих пор обычно пренебрегали,— а в полный голос и открыто» (Actio II, V, 68, § 175).

«Я не могу держать себя так, как лица благородного происхождения, которым все почетные должности достаются во время сна» (Actio II, V, 70, § 180).

И, наконец, как лицо, уже имеющее в руках какую-то власть, Цицерон заканчивает таким вызовом:

«Всякий, кто попытается помочь этому обвиняемому насильем, дерзостью или кознями, тот будет иметь дело со мной перед судом всего народа... Против тех, кого я сделаю своими врагами, радея о пользе римского народа, я буду выступать еще решительнее» (Actio II, V, 71, § 183).

70-й год завершился победой всадничества, если не полной, то во всяком случае очень крупной. Всадники завоевали прежние позиции, захватили суды в свои руки, что для них, как для финансистов и откупщиков, было чрезвычайно важно.

Теперь остается только взглянуть, какова же была, по существу, позиция Цицерона, который, как будто, столь смело выступал против аристократии от лица *homines novi*, ссылаясь на примеры Катона Старшего и Мариа. Действительно ли его позиция соответствовала подлинной политической установке популяров и выступал ли он действительно за интересы народа?

Представители всадничества и, в первую очередь, Цицерон, называли себя *homines novi* и якобы гордились этим. На самом деле они ничего не желали так сильно, как того, чтобы не быть *homines novi* и чтобы их таковыми не считали. С этой точки зрения интересно проследить, как уже в речах против Верреса Цицерон говорит то о «вашем сословии» (*ordo*), то о «нас всех», уже как бы причисляя себя к этому «опозоренному» сословию. Выше были приведены его слова о тех «противниках сената, которые на сходках и путем законопроектов» хотят унижить сенат и против которых Цицерон предостерегает сенаторов; эти «противники сената» и есть популяры, но именно к ним Цицерон не чувствует никакой симпатии даже в этот, наиболее «протестующий» период своей жизни и деятельности; это те, кому Цицерон даст впоследствии название «*malī cives*» (дурные граждане).

Было бы неверно отождествлять тех *homines novi*, представителем и выразителем чаяний которых является и считает себя Цицерон, с теми людьми, которых Саллюстий называет «*genua novarum cupidī*» (жаждущие нового государственного порядка). Всаднические *homines novi*, достигнув своей цели, вернув себе свое положение в государстве и обществе и имея весьма хорошие доходы, отнюдь не стремились к государственному перевороту; всякие законопроекты, клонившиеся к перераспределению материальных благ и к улучшению положения

мелких свободных земледельцев, встречали с их стороны жестокий отпор, какой встретил со стороны Цицерона через семь лет законопроект Рулла. Хотя Цицерон и жалуется на то, что «никогда никто из аристократов не станет благосклонно смотреть на наши стремления», что «доблесть и усердие новых людей вызывают зависть и ненависть многих аристократов» (Actio II, V, 71, § 182), но сами всадники совершенно так же неблагосклонно смотрели на стремления тех, кто стоял на общественной лестнице ниже их. Добившись исполнения своих «стремлений», они показали, что, по существу, были всегда приверженцами республики старого консервативного типа. Таков был и Цицерон: ни его выступления против сулланской диктатуры, ни его негодование на сенатские суды не могут свидетельствовать о его подлинно демократических стремлениях, а только о желании завоевать себе и вернуть своему сословию «место под солнцем». Потому Цицерон и не мог быть ренегатом по отношению к партии популяров, что он никогда не был популяром, а был приверженцем «нравов предков» и поклонником Катона Старшего.

Люди, действительно желавшие нового государственного порядка, выходили не из этой материально обеспеченной общественной группы, а либо из среды разоряющихся нобилей, как Каталина и Цезарь, либо из общественных «низов», людей безродных и нечиновных, как Сатурнин, Главция и Фимбрия. В своих выступлениях они опирались не на тех, кто всегда стремился, «ut comproveretur», что было идеалом всадников, а на армию и на городской «vulgus». Эти новаторы, более чуткие к ходу исторического процесса, скорее чувявшие, чем ясно понимавшие, что республика старого типа идет к своему крушению, видели свою опору в людях, оторвавшихся от спокойной жизни и мирного благосостояния и являвшихся подходящим горючим материалом. Поэтому и неудачливый Катилина и удачливый Цезарь баловали и задаривали городскую бедноту и армию. Тем «новым», к чему неустойчиво шло римское государство, была диктатура, принципат, империя, и именно это «новое» было тем, против чего всю жизнь упорно и даже последовательно выступал homo novus, Цицерон — начиная с процесса Росция Америкейского и кончая Филиппинами.

#### *Глава IV* ЦИЦЕРОН И ПОМПЕЙ

Годы, следовавшие за консульством Помпея и процессом Верреса, были наиболее благоприятными для укрепления мощи всадничества, получившего опять доступ к желанным

местам в судах и возможность использовать систему откупов, не подвергаясь постоянно опасности столкновения с жадными магистратами, а, напротив, имея власть привлекать их к суду за слишком неприкрытый грабеж. В лице Помпея и Цицерона всадничество получило двух достаточно авторитетных и внушительных представителей и ходатаев. Поэтому можно понять, что именно в эти годы Цицерон наиболее ясно и откровенно выступает как всадник и что он связывает свою судьбу с судьбой Помпея. То, о чем он глухо, намеками говорил в речах за Публия Квинкция и за Росция Америкейского, то, за что он уже открыто выступал в агитационных речах против Верреса, теперь звучит с полной силой в речи за Цецину и в особенности в речи «О законе Манилия» (о предоставлении Гнею Помпею главного командования против Митридата): это — гордость всадника теми успехами, которых ему и другим представителям его сословия удалось добиться.

Однако эти успехи отнюдь не следует приравнять к каким бы то ни было успехам популяров: не облегчение положения обезземеленного крестьянства и городского населения, положения, так ярко очерченного Саллюстием в первых главах «Заговора Каталина», составляло цель и задачу укрепления мощи всадничества, а лишь дележ власти и доходов, которыми со времени Суллы пользовались одни только сенаторы: добиться равного почетного положения с сенаторами, быть включенными на равных правах в сенат, иметь возможность занять высшую должность в государстве, праздновать триумфы — к этому сводились честолюбивые планы и Помпея и Цицерона. И цель была полностью достигнута ими обоими; но именно с того момента, когда она уже была достигнута, дали себя чувствовать две силы, пока еще действовавшие скрыто, — глухое недовольство сенатской аристократии возвышением «чужих людей» и недовольство разбитых, но не уничтоженных популяров, которым усиление всадников не принесло ничего. Но все это проявилось позже, в год консульства и после консульства Цицерона; годы же от 70-го до 63-го были для Помпея и Цицерона годами непрерывного подъема и поскольку судьбы их тесно связаны, этот период жизни Цицерона можно назвать «помпеянским».

Чтобы уяснить себе, в каком направлении развивается деятельность Цицерона в течение семи лет, которые прошли от процесса Верреса до избрания Цицерона в консулы (70—63 гг.), необходимо проследить ход развития его отношений с Помпеем, завязавшихся в ранней молодости, во время общей службы в войске Помпея Страбона; а это, в свою очередь, нельзя сделать, не очертивши по возможности кратко политической карьеры самого Помпея: причина многих

житейских и политических неудач Цицерона кроется именно в его ориентации на Помпея.

Даже не слишком глубокая, а местами сбивчивая биография Помпея в «Жизнеописаниях» Плутарха, уделяющая больше внимания военным успехам Помпея, чем его политической деятельности, явно свидетельствует о неустойчивости характера и политической линии поведения Помпея.

После участия в войне против Цинны, в качестве антимарианца (гл. 3) Помпей, спасший отца во время солдатского мятежа, организованного сторонниками Цинны, почему-то сам оказался в лагере Цинны, но «по какой-то причине, боясь клеветы, тайно покинул его» (гл. 5). Плутарх объясняет даже убийство Цинны солдатами личным мотивом — их подозрением, что Цинна приказал убить Помпея. Был ли Помпей в лагере Цинны как перебежчик или как антимарианец, симулировавший бегство именно для того, чтобы возбудить солдат против Цинны, Плутарх не объясняет. После этого неясного эпизода Помпей открыто перешел на сторону Суллы, привел к нему набранное в Пицене войско, энергично боролся с остатками марианцев в Сицилии и Африке и еще при жизни Суллы отпраздновал свой первый триумф — вопреки закону, запрещавшему триумф лицам, еще не занимавшим ни одной государственной должности, и против желания самого Суллы, не сразу уступившего честолюбивым требованиям Помпея. О назревавших между Помпеем и Суллой разногласиях Плутарх упоминает в связи с тем, что Помпей агитировал за избрание на 79-й год в консулы Лепидия и Гортензия, а Сулла охотно оказал. Во время консульства этот вынужденный союз не был прочен: Плутарх говорит о постоянных трениях и о вынужденном же примирении при сдаче должности, — но ни о каком активном противодействии Красса двум важнейшим реформам Помпея — восстановлению трибуната и передаче судов всадникам — ничего не известно; по-видимому, Красс был слишком осторожен, чтобы поставить себя в нелепое положение Бибула, который через 11 лет (в 59-м году) избранный вместе с Юлием Цезарем, тщетно, запершись у себя в доме, протестовал против всех законов, вносимых и проводимых Цезарем.

В качестве такого же «сенатского генерала» Помпей воевал между 78-м и 71-м годом сначала против Сертория, потом против остатков уже разбитой Крассом армии Спартака, и в 71-м году отпраздновал второй триумф. По-видимому, мнение Помпея о самом себе все росло, он все больше убеждался в своей личной мощи. Письма его к сенату, известные из фрагментов «Истории» Саллюстия, самоуверенны и грубоваты.

Военные подвиги Помпея, по-видимому, производили впечатление на римскую толпу, господствовавшую в комициях, и на сенат; его сулланские симпатии были забыты и прощены и избрание его в консулы на 70-й год прошло без помех; в этом же году было положено начало будущей политике триумвиратов, т. е. политического объединения разных элементов: консулами были избраны всадник Помпей и аристократ-сулланец Лициний Красс, победитель Спартака, жестокий истребитель восставших рабов. Как пишет Плутарх, «в сенате Красс был более силен, а среди народа велика была мощь Помпея» (гл. 22); более того, «завистники Помпея упрекали его только в одном, что он более склоняется к народу, чем к сенату, и решил восстановить основу господства народа (т. е. трибунат), уничтоженную Суллой, и тем угодить толпе» (гл. 21). С каких пор и чем эту репутацию «сторонника народа» заслужил Помпей, подавивший восстания Лепида и Сертория и добивший армию рабов, Плутарх не говорит — очевидно Помпей опять «сделал поворот». И действительно, 70-й год был, как мы видели, годом торжества, если не «народа» в полном смысле слова, то всадничества, т. е. соперников аристократии; сотоварищ Помпея по консульству, Красс, «самый богатый из всех тогдашних государственных деятелей, лучший влиятельнейший оратор, презиравший и самого Помпея, да и всех вообще, не решился выставить кандидатуру на консульство, раньше чем попросил Помпея о помощи» (гл. 21), которую Помпей, польщенный этим упрямством, охотно оказал. Во время консульства этот вынужденный союз не был прочен: Плутарх говорит о постоянных трениях и о вынужденном же примирении при сдаче должности, — но ни о каком активном противодействии Красса двум важнейшим реформам Помпея — восстановлению трибуната и передаче судов всадникам — ничего не известно; по-видимому, Красс был слишком осторожен, чтобы поставить себя в нелепое положение Бибула, который через 11 лет (в 59-м году) избранный вместе с Юлием Цезарем, тщетно, запершись у себя в доме, протестовал против всех законов, вносимых и проводимых Цезарем.

Итак, Помпей сделался якобы «народным» героем и вождем и Плутарх не без иронии описывает, до какой степени он зазнался. Почести сыпались на него, а политическое положение в Риме и вне его действительно требовало все время сильного военного защитника; в 68—67 гг. до невероятной дерзости дошли пираты; об их налетах Цицерон говорил уже в речах против Верреса; но тогда он считал верхам позора для римлян то, что пираты осмелились войти в Сиракузскую гавань; теперь они вторглись уже на италийское побережье и доходили до Остии; на Востоке назревала война с Митридатом,

более страшная, чем обе предыдущие; поэтому два закона, внесенные в 67 и 66 годах сторонниками Помпея, народными трибунами Габинием и Манилием, о передаче всех военных полномочий Помпею сперва в войне против пиратов, а потом против Митридата, прошли при очень слабых попытках противодействия сената, с полным успехом для Помпея. В 66 г. Помпей уехал на Восток и пробыл там более четырех лет, совершенно оторвавшись от внутренних дел в Риме; а во время его отсутствия ситуация сильно изменилась, произошло немало важных событий: был раскрыт и подавлен заговор Каталины; Цезарь, игравший до 66-го года малозначительную роль, стал едва ли не первой фигурой в Риме; в сенате, который из страха перед Митридатом предал в 66-м г. своего сторонника Лукулла Помпею, теперь, когда война закончилась, стали подстрекать оскорбленного Лукулла против Помпея и опротестовывать мероприятия Помпея на Востоке — и по своем возвращении в Рим Помпей, привыкший играть первую роль, оказался между двух огней: любимцем «народа» уже был не он, а Цезарь, а сенат не нуждался более в его военном таланте; необычайно пышный, третий триумф Помпея, который длился два дня и ослепил своей роскошью весь Рим, был кульминационным пунктом, с которого начался крутой спуск вниз: вынужденное вступление в триумвират в 59-м г., инициатором которого был уже не Помпей, а Цезарь, было по существу для Помпея началом конца.

Мы видели теперь, в каком темпе и каким извилистым путем шел Помпей к тому почти неограниченному могуществу, которым он пользовался между 70-м и 62-м гг.; война с Цинной в 88 г., загадочное пребывание в лагере Цинны в 86 г., переход к Сулле в 83 г., войны в Африке против остатков марианцев с 83—79 г., агитация за скрытого марианца Лепида в 79 г., подавление в качестве «сенатского генерала» восстания того же Лепида в 78 г., война с Серторием в Испании и победа над остатками армии Спартака с 77 по 71 г., консульство с «демократическими реформами» в 70-м г., полномочия в военных делах с 67 по 62 год — таков 25-летний путь Помпея, его путь вверх. Из этого краткого обзора ясно, что у Помпея не было никакой последовательной политической программы и ясной линии, он хватался за каждую возможность подняться выше и прославиться в особенности на том поприще, на котором он был действительно силен, — на войне; его гражданская деятельность не строилась по определенной программе и он руководился в ней нередко чужой инициативой: так, он два раза выдвигал в консулы совершенно ничтожных людей: в 78 г. Лепида и в 60-м Афрания. Талантливый и решительный на войне, он был неустойчив и несообразителен в делах поли-

тических, ни про-сенатскую, ни анти-сенатскую, ни даже примиренческую всадническую линию, он не умел и не мог проводить последовательно. И наибольшей ошибкой в жизни Цицерона, имевшего хотя и нечетко сформулированную и не соответствовавшую его эпохе, но все же ясную программу «равновесия и примирения двух господствующих сословий», было то, что он ориентировался на такую шаткую политическую фигуру, как Помпей. К характеристике этого «помпеянского» периода в жизни Цицерона мы и перейдем.

В год процесса Верреса Цицерон был избран эдилом, через четыре года во время произнесения своей следующей чисто политической речи — о законе Манилия — он был уже претором, еще через три года — консулом. Такое быстрое продвижение по лестнице государственных должностей несомненно было не случайным и совершалось с помощью той общественной группы, интересы которой представлял Цицерон — римского всадничества, заинтересованного в увеличении своих богатств и в своих торговых делах значительно больше, чем в чисто политических программах.

Выступив в речах против Верреса в качестве агитатора за права всадничества, Цицерон тем самым на некоторое время прочно связал свои интересы с всадниками и с тем, кто в этот период возглавлял их и составлял их славу — с Помпеем. 70-й год закончился, если не полной, то крупной победой всадничества — суды в значительной мере перешли в их руки, влиянию сенаторов был нанесен сильный удар. В результате консульства Помпея и Красса сулланская конституция была уничтожена и «старый режим» до-сулланской республики был восстановлен; это было достигнуто с помощью двух реформ, проведенных, как ясно говорил Цицерон (см. выше гл. III), по инициативе Помпея — с помощью реформы судов и восстановления народного трибуната. Интересно отметить, что отношение Цицерона к этим двум реформам в корне различно: всемерно сочувствуя реформе судов и активно выступая в ее пользу, Цицерон очень холодно отзывался о трибунате; если в своих первых речах он осмеливался нападать на сенаторские суды и ни слова не упоминать о стеснении — а фактически уничтожении — власти трибунов при Сулле, то это еще можно объяснить опасностью, грозившей тому, кто решился бы заговорить об этом оплоте популяров, пока был жив Сулла; но в 70-м году, когда Помпей обещал на своих выборах в консулы восстановить трибунат и выполнил свое обещание, Цицерон мог даже помочь ему, если бы приложил к агитации за трибунат столько же усилий и столько же красноречия, сколько он приложил к восстановлению всаднических судов; он не только не сделал этого, но даже, упомянув об обеих проектировавшихся реформах,

указал, что «народ» более горячо требовал реформы судов, чем восстановления трибуната (см. выше), т. е. он явно отмежевался от самого главного пункта политической программы популяров.

В еще более резкой форме Цицерон отзываясь о трибунате через четыре года после его восстановления в своей речи по уголовному процессу Клуэнция (в 66 г.); в этом процессе Цицерон выступал как защитник некоего всадника Клуэнция из Ларина (муниципия в Самниуме), обвиненного своей родной матерью (формально — своим младшим сводным братом) в отравлении своего отчима Оппианика; но за пять лет до этого (в 71 г.) сам Оппианик был обвинен в том же самом преступлении по отношению к своему пасынку Клуэнцию, который успел спастись от покушения; Оппианик был осужден и отправлен в изгнание, где и умер; осуждение Оппианика было вынесено, следовательно, еще сенаторским судом, и Цицерон, защищая Клуэнция, попал в весьма затруднительное положение: он должен был признать справедливым осуждение Оппианика, которого он изображает злодеем, и тем самым высказаться в пользу суда некоего сенатора Юния, против которого он сам в свое время выступал. Положение Цицерона осложнялось еще более тем, что при процессе Оппианика Цицерон защищал, правда, не самого Оппианика — но его раба Скамандра, обвинявшегося в том, что именно ему было поручено отравить Клуэнция. Выпутываясь из этого сложного и неприятного положения, которое его недоброжелатели не преминули обратить как оружие против него, Цицерон невольно раскрывает ту политическую обстановку, которая была в 71-м г. перед избранием Помпея в консулы и которая, очевидно, способствовала возвышению Помпея и подготовила его победу на выборах. Из речи за Клуэнция выясняется, что в 71-м году велась ярая агитация за трибунат и против сенатских судов и что застрельщиком в этой борьбе был не Цицерон, а народный трибун Люций Квинкций, которого Цицерон характеризует как «яростного, злоречивого, беспокойного» демагога («За Клуэнция» 34, § 94); хотя трибуны еще не имели в это время своего главного права интерцессии — но Квинкций, по-видимому, использовал все же свою должность для укрепления своего влияния на комициях и для подготовки реформ. Теперь, когда эти бои отошли в прошлое и трибуны уже давно вернули себе свои права, Цицерон проговаривается, что реформу судов поддерживал и этот, порицаемый им трибун, но упрекает его в том, что он делал это в своих личных интересах.

«Л. Квинкций, один из первых тогдашних демагогов, прекрасно умевший пользоваться толками людей и подлаживаться под настроение собиравшейся в комициях толпы, решил,

что ему представился прекрасный случай увеличить свою популярность за счет сенаторских судов, которые, как он замечал, перестали, пользоваться доверием народа» («За Клуэнция» 28, § 77).

Но ведь в это же время выступал против сенаторских судов и сам Цицерон, и он же обвинял их в подкупности и в несправедливости; теперь ему пришлось снять это обвинение с судьи Юния, осудившего Оппианика; он делает это с достаточной ловкостью, обращая оружие против трибуна Квинкция; выразив свое уважение к сенатору Юнию, Цицерон добавляет:

«Все это, разумеется, нельзя было изложить тогда, когда делом управлял Квинкций, ни в речи к народу, ни перед судом:... возбуждая толпу, он никому не давал возможности произнести хотя бы несколько связных слов» («За Клуэнция» 39, § 108).

Самого Квинкция Цицерон изображает в насмешливом, даже озлобленном тоне. «Вспомните его важный вид, его пышный наряд, его пурпурную мантию, доходившую ему до пяток!» («За Клуэнция» 40, § 111).

Можно бы возразить, что эти выпады носят чисто Личный характер; возможно, Цицерон не ладил с Квинкцием, завидовал его успеху как популяра, боролся с ним за влияние в комициях, а не был враждебен усилению трибуната как таковому? Однако это не так, и Цицерон открыто говорит об этом, относя свое враждебное выступление уже не только к Квинкцию, а к трибунату вообще.

«Ваша мудрость, судьи, велит вам... живо представить себе то зло, ту опасность, которой может угрожать каждому из нас трибунская власть, тем более, если облеченное ею лицо станет разжигать народные страсти и подкапываться под устои государства путем бурных сходов» («За Клуэнция» 35, § 95).

Едва ли можно более ясно высказать свою антипатию к должности народного трибуна; уже из этих слов видно, насколько необоснованно общепринятое положение, что Цицерон сочувствовал популярам или даже принадлежал к ним и, только добившись консульства, стал приверженцем сенатской консервативной группировки.

Итак, из двух реформ, принятых в консульство Помпея, Цицерон сочувствовал только реформе судов, но не возвращению всех прав народным трибунам.

Однако неодобрительное отношение к одной из реформ Помпея отнюдь не означало, что Цицерон решил вести какую-то самостоятельную политическую линию, независимо от Помпея; то, что Помпей, всадник, покровительствуя всадникам, поднимался сам все выше и выше, было выгодно для Цицерона, который в 66 году без особого труда достиг претуры, о чем

он с гордостью говорит в начале речи «О законе Манилия». В конце же этой речи Цицерон очень усердно — даже слишком усердно — старается отвести от себя подозрение, что он выступает в пользу Помпея из каких-либо личных соображений.

«Мой поступок был мне внушен не чьими бы то ни было просьбами, не расчетом приобрести моим участием в этом деле расположение Гнея Помпея, не желанием найти в дружбе какого-либо вельможи убежище от могущих возникнуть опасностей или подспорье к достижению дальнейших почестей... Я не только не льщу себя надеждой на приобретение чьего-либо расположения, а, напротив, ясно сознаю, что вызвал и явную, и тайную ненависть к себе многих лиц и вызвал без настоящей необходимости для меня лично, но не без пользы для вас...» («О законе Манилия» 24, § 70).

Это заявление Цицерона явно указывает не только на то, что он связал свои интересы с судьбою Помпея, но и на наличие недовольства в среде сената слишком быстрым возвышением этих двух всадников; весьма возможно, что и претора так беспрепятственно досталась Цицерону лишь потому, что его поддерживал Помпей. Цицерон был ему нужен именно в этом году в качестве претора, который выступил бы в его пользу в сенате, где закон Манилия мог натолкнуться и действительно натолкнулся на сопротивление крайних аристократов Катула и Гортенсия. Помпей же, дошедший в это время до полного самопоения своими подвигами, победивший в предыдущем (67-м) году с необычайной быстротой пиратов, несомненно поставил себе целью добиться командования на Востоке против Митридата; он чувствовал, что Лукуллом не слишком довольны даже в сенате, и тем более в широких кругах: Лукулл вел войну на Востоке основательно и храбро, но без надежды на скорый конец ее; поэтою предложение народного трибуна Манилия, совершенно незначительной личности, было по всей вероятности подготовлено самим Помпеем и его приверженцами и поклонниками. Плутарх с иронией рассказывает, как Помпой, узнав о своем избрании главнокомандующим, «нахмурил брови и как бы недовольный... вскричал «Увы! Война за войной! Я предпочел бы остаться в неизвестности... В то время, как он говорил это, даже близкие его друзья не могли остаться равнодушными к его лицемерию. Они знали, что ссора его с Лукуллом, разжигая его враждебное честолюбие и страсть к господству, даже радовала его. И, разумеется, его поведение скоро показало его в истинном свете... Он не оставлял нетронутым ни одного из распоряджений Лукулла» (Помпей, 30—31).

Однако сам трибун Манилий мог только внести предложение, но по-видимому не мог защитить его, некоторых убедить, а других ослепить блеском красноречия; это было поручено

Цицерону и, надо сказать, он прекрасно выполнил этот «заказ». Речь о законе Манилия является одной из самых лучших речей Цицерона с точки зрения композиции и риторического искусства; с одной стороны, она является ярким панегириком личным качествам Помпея (этому посвящены 6—7 главы речи), с другой — ловким ходом, рассчитанным на то, чтобы вызвать страх за свое богатство у всех крупных собственников, заседавших в сенате. Цицерон восхваляет достоинства Помпея, не слишком уклоняясь от истины. Полководец должен отличаться полным бескорыстием..., полной воздержностью, верностью своему слову, общительностью, политическим умом, гуманностью (гл. 13), говорил Цицерон; Помпей действительно был лично честен и удерживал солдат от грабежей; но Цицерон очень кратко и бегло останавливается на «общительности» и на «политическом уме» — Помпей в это время был уже очень надменным, а его «политический ум» едва ли мог ослепить даже легковерного Цицерона; тем более настойчиво Цицерон распространяется о его авторитете, личной обаятельности, о его военном таланте и о том, что для война, по словам Цицерона, может быть самое важное, о его счастье: в благоприятную судьбу, в особое покровительство Фортуны верили в то время не только «средние» люди, но и такие скептики, как Сулла, присоединивший к своему имени прозвище «Felix» — счастливый.

Восхваляя честность Помпея, Цицерон попутно дает ужасную характеристику римских наместников, т. е. не упускает случая немного уколоть зазнающийся нобилитет, поставляющий в провинции магистратов: «Я не говорю, что у нас нет честных и воздержных людей, но никто не считает их таковыми, до того преобладают численностью алчные» («О законе Манилия» 22, § 64). Неужели противники сосредоточения высшей власти в руках одного человека не знают, с какими мыслями отправляются в провинции наши наместники, какие они для этого делают затраты, какие заключают сделки! («О законе Манилия» 23, § 67).

Восхвалив Помпея как человека, Цицерон переходит к более важному моменту — к влиянию, приобретенному Помпеем, как представителем всадничества; едва ли некоторым аристократам было приятно слушать такую похвальбу тех, кого они считали выскочками. Цицерон восклицает с пафосом: «Что может быть неслыханнее, чем назначенный римскому всаднику триумф? А между тем римский народ не только видел своими глазами этот триумф, но даже счел долгом придать ему особенно праздничный характер своим дружным участием!.. Что может быть невероятнее, чем разрешенный сенатом вторичный триумф римского всадника?» («О законе Манилия» 21. § 62).

Однако панегирик Помпею составляет вторую, так сказать декоративную, часть речи «О законе Манилия» — первая же часть, более существенная, посвящена не красивым словам, а деловой экономической стороне вопроса. Живо описав опасности, которыми грозит новая война с Митридатом, Цицерон особенно подчеркивает не военную сторону дела, а те финансовые убытки, которые могут быть следствием непрочного политического положения в восточных провинциях.

«По своему смыслу настоящая война такова, что вы должны проникнуться сильнейшим желанием довести ее до конца. Ее предмет — завещанная вам предками слава римского народа, ...ее предмет — благосостояние наших союзников и друзей, из-за которого наши предки вели много тяжелых войн; ее предмет — самые верные и обильные источники доходов римского народа, с потерей которых вы лишитесь и того, чем страшна война, и того, чем красен мир; ее предмет — могущество многих граждан, справедливо ожидающих от вас помощи как ради себя самих, так и ради государства» («О законе Манилия» 2, § 6).

«...Ко всему присоединяется еще опасность, которой подвергаются самые крупные доходы вашей казны. Действительно, доходы с других провинций столь незначительны, что их едва хватает на расходы по управлению самими провинциями; Азия, напротив, страна, в высшей степени благодатная и роскошная... если только вы хотите сохранить возможность воевать с успехом и жить в мире с достоинством, вы должны обезопасить эту провинцию не только от бедствий, но и от страха перед ними... Дело в том, что в других делах потеря обуславливается наступлением бедствия, в деле же взимания налогов не только появление беды, но и страх перед ней разорителен... люди оставляют свои пастбища, бросают свои поля, отказываются от своих торговых предприятий: а раз это случилось, пропадают казенные сборы и с таможен, и с выгонов, и с десятинных полей... Неоднократно пустые слухи о предстоящей войне... заставляли нас терять доходы за целый год» («О законе Манилия» 6, § 14—15).

Цицерон хорошо понимал, что далеко не все сенаторы довольны возвышением Помпея и он старается «взять их за живое», показать, насколько их интересы зависят от благополучия всадничества, держащего в своих руках богатейшие азиатские откупа; не упуская случая похвалить всадников и подчеркнуть их важную роль в экономической жизни государства, Цицерон сейчас же указывает, что денежные интересы сенаторов теснейшим образом связаны с финансовой политикой на Востоке.

«...Откупщики, степенные и почтенные люди, свои денежные операции и капиталы перенесли в эту провинцию, а их интересы сами по себе заслуживают внимания с вашей стороны...;

...если мы по справедливости в казенных сборах всегда видели артерии нашего государства, то мы столь же справедливо можем назвать то сословие, которое ими заведует, залогом существования прочих. Но кроме того и члены других сословий, люди предприимчивые и деятельные, отчасти сами занимаются денежными оборотами в Азии и имеют право на ваше участие, отчасти же поместили большие капиталы в этой провинции» («О законе Манилия» 7, § 17—18).

Более того, — Цицерон проявляет и серьезное понимание общей мировой экономической конъюнктуры, как бы мимоходом упоминая о возможности финансового краха не только восточных, но и чисто римских держателей крупных капиталов: он напоминает о том, что во время первой войны с Митридатом, когда «множество граждан потеряло в Азии большие капиталы, в самом Риме платежи были тоже приостановлены и все курсы пали... иначе и быть не может... римские курсы, римские денежные операции, производимые здесь, на форуме, стоят в тесной, органической связи с денежными оборотами в Азии; крушение этих последних не может не втянуть в ту же пучину и первые» («О законе Манилия» 7, § 19).

Еще на одну, может быть, наиболее страшную опасность Цицерон тоже указывает — на угрозу восстания рабов, но и этих нескольких слов, вероятно, было достаточно для тех, у кого были свежи в памяти события войны со Спартаксом, закончившейся только пять лет назад.

«Постарайтесь же вдуматься в настроение и плательщиков податей, и акционеров (participes), и агентов откупных товариществ в настоящую минуту, когда они видят, что вблизи стоят два царя с громадными войсками,... когда откупщики видят опасность даже для себя в тех многочисленных отрядах рабов, которые они содержат на пастбищах и полях, в гаванях и на сторожевых пунктах?» («О законе Манилия» 6, § 16).

Негласное давление Помпея и его сторонников, эффектное, но весьма реалистическое выступление Цицерона и страх за капиталы, вложенные в восточные предприятия, сделали свое дело — Помпей получил командование в войне против Митридата, а Цицерон уже со следующего, 65 г., стал готовиться к проведению предвыборной агитации для своего избрания в консулы; всадничество достигло вершины своего могущества.

Интересно обратить внимание на противопоставление римских магистратов, среди которых по словам Цицерона «преобладают алчные», и которые едут в провинции, чтобы обогащаться за счет провинциалов, «степенным и почтенным откупщикам, перенесшим свои денежные операции и капиталы» в восточные провинции; Цицерон, конечно, хорошо знал, что и откупщики едут в провинции не для того, чтобы благодетельствовать

провинциалам и что они наживают там огромные деньги; так, через несколько лет, уже заседая в сенате, он ведет дело своего друга Атика против задолжавших ему греческих городов провинции Ахайи; но эта, менее бросающаяся в глаза, более систематическая форма высасывания доходов из провинций, форма эксплуатации, а не открытого грабежа, представляется Цицерону вполне допустимой и законной. Цицерон хорошо понимал, насколько важны для римского государства его времени крупные частные собственники, непрерывно пополняющие своими откупными взносами государственную казну, основывающие торговые общества и дающие возможность нажиться и представителям аристократии, если они войдут с ними в компанию. Именно поэтому Цицерон так высоко ценил гражданское право и то, что римское гражданское право всецело основано на частной собственности; наиболее ярким доказательством этого убеждения в непоколебимости принципа частной собственности является его «гимн» гражданскому праву в речи за Цецину, произнесенной в 69-м году, т. е. в тот же изучаемый нами период. Это высказывание Цицерона настолько характерно и важно, что, несмотря на его длину, его необходимо привести полностью.

«...Из всех основ нашего государства,— говорит Цицерон,— ни одна не заслуживает столь заботливого охранения, как гражданское право. Уничтожьте его — и вы уничтожите вместе с ним всякую возможность для нас достоверно узнать, что принадлежит нам и что нет» («За Цецину» 25, § 70).

...В самом деле, что такое гражданское право? Это — скала, которой не повернет сила влияния, не сокрушит сила власти, под которую не подкопается сила денег; это — начало, которое вы не можете не только упразднить, но даже временно предать забвению, ...если не хотите, чтобы все потеряли уверенность в прочности прав, законно приобретенных, унаследованных от отца и завещанных детям. Какая тебе польза от дома или имения, оставленного тебе отцом или другим каким-либо способом благоприобретенного, если неизвестно, можешь ли ты удерживать за собой то, чем ты владеешь?.. Верьте мне: когда кто-нибудь из нас получает в наследство какое-нибудь добро, он большей долей этого наследства обязан праву и закону, чем завещателю. Завещатель может достигнуть лишь того, чтоб его добро перешло в мои руки; удерживать за собою то, что стало моим, я без помощи гражданского права не могу; имение может быть оставлено мне отцом; но срок давности для владения (usucapio) этим имением, а с ним и конец тревогам и страху перед процессами, назначается не отцом, а законами...

Вот почему вы должны оберегать это всеобщее наследие права, завещанное вам предками, не менее заботливо, чем вы оберегаете ваши частные наследства, не только потому, что и

этим последним служит оплотом гражданское право, но также и потому, что потеря наследства приносит убыток лишь одному лицу, право же не может быть потеряно без великого ущерба для государства» («За Цецину» 26, § 73—74).

Трудно более ясно выразить основной принцип политической идеологии той общественной группировки, которую представлял Цицерон; и поскольку он выступал против беспорядочных грабительских действий нобилей, против их распушенности и своеволия, он был прав, но его приверженность к организовано и бесшумно наживающимся собственникам-всадникам, с одной стороны, делала его близоруким по отношению к массовому обезземелению и обеднению мелких и мельчайших собственников римского и италийского крестьянства, с другой,— заставляла его недооценивать презрительную враждебность старого нобилитета; те самые Метеллы, а м. б. и многие другие, которые ценили и выдвигали Цицерона, пока он обслуживал их как молодой homo novus, перестали симпатизировать ему, когда он слишком открыто стал пропагандировать интересы всадничества и слишком крепко связал себя с Помпеем. То, что Цицерон не понял опасности, грозившей ему и «слепа» — от тех, кто представлял или, во всяком случае, играл роль представителей беднейших слоев, требовавших земельных наделов,— и «справа» — от аристократии, терпевшей, лишь пока это было совершенно необходимо, выдвинувшихся на первые посты всадников, это непонимание им действительной политической ситуации стало ясно уже в течение его консульства: напор «слева» привел к столкновению Цицерона с трибуном Руллою по поводу аграрных законов; а отсутствие искренней поддержки «справа» привело к тому, что Цицерон переоценил значение совместных действий сенаторов и всадников в момент опасности, угрожавшей имуществу тех и других со стороны катилинариев; он заплатил за свое легковерие и вскоре был оставлен аристократией на произвол судьбы. Помпей же, с которым Цицерон добровольно связал свою карьеру, надолго уехал на Восток, вернулся в Рим уже после окончания консульства Цицерона и тоже не оказался надежной опорой и защитой для Цицерона, приложившего в свое время немало усилий к возвеличению Помпея. Однако консульство Цицерона от речей об аграрном законе до речи за Мурену является темой, требующей особой разработки, а 66-й год с первым крупным открытым чисто-политическим выступлением Цицерона в речи «О законе Манилия» можно считать завершающим моментом начального периода его политической карьеры, периода наименее ясного и давшего повод к возникновению мнения о Цицероне, как ренегате-популяре, мнения, необоснованность которого мы пытались доказать в данной работе.

Ф. А. Петровский

## ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ЦИЦЕРОНА

### 1

Многообразная деятельность Цицерона и как оратора, и как общественного деятеля, и как теоретика ораторского искусства, и как популяризатора греческой философии с давних времен привлекала внимание исследователей и продолжает привлекать его и в наши дни. Надо сказать, что мало о ком из людей античного мира мы имеем столько сведений, как о Цицероне, и мало от кого из античных писателей осталось столько произведений, по которым мы можем непосредственно судить об их таланте, мировоззрении и деятельности; даже от такого автора, как Аристотель, до нас дошла лишь незначительная, в сравнении с тем, что он написал, часть его произведений; а если взять, например, Демокрита, то, кроме скудных и разрозненных фрагментов, из сочинений этого крупнейшего и многостороннего философа не сохранилось ничего. Другое дело Цицерон. Захотим ли мы познакомиться с его биографией — к нашим услугам огромная его переписка, включающая не только письма самого Цицерона, но и его корреспондентов; пожелаем ли судить о нем как об ораторе — у нас целое собрание его речей, начиная с самых ранних и кончая выступлениями против Антония; надо ли нам ознакомиться с его политическими теориями — перед нами его трактаты «О государстве» и «О законах»; о философских воззрениях Цицерона можно судить по «Тускуланским беседам», диалогу «О пределах добра и зла» и по ряду других произведений: теория ораторского искусства может быть изучена и по раннему его сочинению «Об изобретении», и по трем основным «го риторическим произведениям — «Брут», «Об ораторе» и «Оратор».

Этот последний отдел произведений Цицерона исключительно интересен тем, что в них он выступает не только как

превосходный знаток своего дела, но и как совершенно самостоятельный мыслитель, изучивший ораторское искусство и в теории, и на долголетней блестящей практике. Ко времени Цицерона ораторское искусство достигло в Риме значительной высоты и стало предметом внимательного изучения, что, помимо сторонних свидетельств о выступлениях ораторов-предшественников Цицерона (Красса, Антония, Гортенсия и других), речи которых известны нам лишь по фрагментам, доказывається целой, дошедшей до нас «Риторикой к Гереннию» — учебником, в котором ярко выражены чисто римские и притом демократические тенденции его автора, имя которого до сих пор в науке не установлено.

Однако, хотя разработка ораторского искусства или, лучше сказать, *мастерства* достигла в Риме при Цицероне большого совершенства, но она, насколько мы можем судить по имеющимся данным, ограничивалась практическими целями и не выходила за пределы того, чем необходимо овладеть специалисту-оратору, и притом главным образом в судебной области. Цицерона это не удовлетворяло. Поставив себе задачей мысленно создать образ идеального оратора, он требует от вступающих на ораторское поприще неуклонного стремления к этому идеалу, хотя и недостижимому, как всякий <sup>5</sup> идеал, с точки зрения Цицерона: «Ведь истинно красноречив тот, кто обыкновенные предметы выражает просто, великие — возвышенно, а средние — с умеренностью,—говорит Цицерон Бруту («Оратор» 29, § 100).—Такого, скажешь ты, никогда не бывало. Пусть не бывало; я ведь рассуждаю о том, чего я желаю, а не о том, что встречал в действительности, и возвращаюсь к тому идеальному образу Платона, о котором говорил прежде <sup>6</sup>: мы можем постигать его умом, хотя и не видим. Ведь я веду речь не о красноречивом в совершенстве и не о чем-либо смертном и тленном, но о том свойстве, обладающий коим будет в совершенстве красноречив: это свойство есть не что иное, как само совершенное красноречие, доступное лишь умственному взору».

Приближение к этому идеальному образу оратора возможно, по глубокому убеждению Цицерона, лишь для человека, получившего высокое и всестороннее образование, в состав которого входит, как неперемнное условие, изящная, или художественная литература. И вот Цицерон, «будучи... почитате-

<sup>6</sup> Так я передаю слово *eloquens*, которое вряд ли можно передать по-русски одним словом. Лучшее всего значение *eloquens* видно из того же «Оратора» (5, 18), где Цицерон приводит слова Марка Антония, который говорил, что «речистых (*disertos*) ораторов он видал много, но в совершенстве красноречивого (*eloquentem*) решительно никого».

<sup>7</sup> «Оратор» 3, 9.

«Об ораторе» II, 1, § 1 сл.

лем всякого научного знания, не пренебрегая каким бы то ни было учением, ...особенно усердно отдавался поэтическому творчеству»<sup>8</sup>.

Прекрасное знакомство с литературными произведениями — и греческими, и латинскими — видно по всем сочинениям Цицерона, но кроме того до нас дошло одно его произведение, посвященное непосредственно вопросу о значении художественной литературы для человечества и специально для римлян. Это — речь «За поэта Архия», защита которого от обвинения в присвоении им звания римского гражданина была для Цицерона сущим юридическим пустяком, и он взялся за это дело главным образом потому, что Архий, советами которого он воспользовался еще в ранней юности (§ 1 речи), обещал написать поэму о его консульстве (§ 28)<sup>9</sup>. Речь в защиту гражданских прав Архия совершенно своеобразна по своему построению: основная ее тема (causa) занимает чрезвычайно мало места (§§ 4—11), тогда как та часть, которая стоит вне судебной темы (extra causam), составляет все главное содержание речи.

Эта главная часть речи за Архия представляет собою рассуждение о значении поэзии, которое дает нам возможности судить о взглядах Цицерона на художественную литературу, по меньшей мере на эпическую поэзию, бывшую, по-видимому, специальностью Архия<sup>10</sup> и вместе с тем имеющую, как полагал Цицерон, первенствующее общественное значение. Все это рассуждение можно назвать «похвальным словом» литературе, и таким образом речь за Архия оказывается единственной речью Цицерона, относящейся, по существу, не к судебному роду красноречия (genus iudiciale), а к показательному, или хвалебному (genus demonstrativum или laudativum).

Очень существенно то, что эта речь принадлежит к наиболее искренним речам Цицерона и произнесена им в то время, когда он, достигнув наибольшей общественно-политической славы, считал для себя возможным открыто высказывать свои мысли и, со свойственной ему высокой самооценкой, ставить себя в пример остальным римлянам.

Начинает Цицерон свое похвальное слово литературе с того, какую пользу приносит литература, как и все те изящные ис-

<sup>8</sup> Плутарх. Цицерон, 2.

<sup>9</sup> Хотя Цицерон и говорит, что Архий уже составил план этой поэмы и начал ее (§ 28), он обманул надежды своего защитника, так как в письме к Аттику лотом 61 года (т. е. на другой год после защиты Архия) Цицерон с горечью сообщает своему другу: «... Архий ничего не написал об мне» (Письма к Аттику, I, 16, 15).

<sup>10</sup> Точно сказать этого нельзя, так как из произведений Архия ничего до нас не дошло, а эпиграммы под именем Архия в «Палатинской антологии» могут принадлежать другому, одноименному поэту.

кусства (или науки — artes), которые относятся к общему образованию (§ 2) и занятия которыми возможны в Риме только при спокойствии государства (§ 5). Прежде всего Цицерон указывает на пользу литературы, как на средство отдыха для оратора, занятого утомительной и беспокойной судебной деятельностью; в этом отношении литература гораздо лучше, чем какая-нибудь игра в мяч или в кости, или даже занятия домашними делами, потому что она не только доставляет отдых, но и совершенствует искусство оратора (§§ 12—13).

Начав, таким образом, очень скромно свою похвалу литературным занятиям и даже сделав попутно выпад против тех, кто настолько им преданы, что совершенно отстранились от всякой деятельности на пользу обществу (§ 12), Цицерон указывает, что литература, помимо специальной пользы для ораторского искусства, имеет и гораздо большее и важное значение как надежное средство воспитания мужественных и доблестных характеров, потому что в литературных произведениях находятся многие образцы и примеры таковых, которые были бы забыты, не будучи закреплены в письменных памятниках (§ 14).

Высказав такое положение, Цицерон считает, однако, необходимым предвосхитить возражение, типичное для рядового практического римлянина: неужели же те замечательные мужи, доблесть которых восхваляется в произведениях литературы, получили литературное образование? Отвечая на это риторическое возражение, Цицерон признает его лишь частично справедливым и, соглашаясь с тем, что первенствующее значение имеют природные дарования, твердо отстаивает свою излюбленную мысль, что приближение к истинному идеалу совершенного человека можно достичь лишь путем развития высоких прирожденных качеств при помощи правильного литературного образования, приводя в пример Сципиона Африканского Младшего и его друзей — Гая Лелия и Луция Фурия, а вместе с тем и Катона Старшего. Нам эта мысль Цицерона представляется, пожалуй, не более чем общим местом, но современные Цицерону римляне далеко не считали такое мнение правильным и общеобязательным; стоит вспомнить оратора Антония, который всячески старался скрыть свое литературное образование и старался уверить римское общество, что он стал оратором без всякой научной подготовки<sup>11</sup>. Но даже если не принимать во внимание пользу занятий литературой и считать их только за развлечение, то все-таки это развлечение следует считать наиболее достойным образованного и благородного человека. И заканчивается эта часть рассуждения знаменитым, ставшим

<sup>11</sup> «Об ораторе» II, 1, § 4.

общим местом, заключением, которое хорошо нам известно благодаря передаче Ломоносова:

Науки<sup>12</sup> юношей питают,  
Отраду старцам подают,  
В счастливой жизни украшают,  
В несчастной случай берегут;  
В домашних трудностях утеха,  
И в дальних странствах не помеха,  
Науки пользуют везде;  
Среди народов и в пустыне,  
В градском шуму и наедине,  
В покое сладки и в труде.

Постаравшись выяснить перед судьями и римской публикой высокое значение поэзии не только как забавы или развлечения, но и как важного фактора в жизни общества, Цицерон мастерски заставляет своих слушателей признать самих поэтов: людьми, заслуживающими величайшего уважения и почета: если мы,—говорит он,—так восхищались игрою покойного актера Росция, привлекавшего нас «движением тела» (то есть умелой жестикуляцией и умением держать себя на сцене), то как же можем мы относиться с пренебрежением к «подвижности духа и к быстроте мысли» (то есть к таланту поэта)? (§ 17). И вот этими свойствами, которые должны рассматриваться прямо как нечто божественное, обладает поэт Архий, сочинения которого ставят его наравне с древними писателями<sup>13</sup>. А «божественное вдохновение» (*divinus Spiritus*) и определяет существо поэта, в отличие от других представителей умственного труда, как, например, ораторов, философов и т. д. (§ 18). Но самого высокого внимания заслуживает тот поэт, который не только одарен от природы, но кроме того старательно работает в своей области и посвящает себя возвеличению славы и чести парода<sup>14</sup> (§§ 18—19).

Здесь следует отметить один прием Цицерона, которым он придает еще большую убедительность своим доводам, указывая как на почитателя поэзии, возвеличивавшей подвиги римского народа, не только на сулланца Луция Лукулла, но и Гая

<sup>12</sup> Цицерон, разумеется, словом *studia* обозначает здесь не науки (в нашем смысле), а литературу и прежде всего поэзию.

<sup>13</sup> Авторитет *древних* (мы сказали бы — классических) поэтов был для Цицерона непререкаем, как в отношении греческих авторов, так и латинских, которые следовали образцам классических греческих авторов; главными авторитетами в этой области были для него Гомер и Эвний.

<sup>14</sup> Цицерон в речи за Архия, разумеется, говорит здесь об Архии и его заслугах в деле прославления *римского* народа, но нет никаких сомнений в том, что его слова следует понимать и в гораздо более широком смысле.

Мария, делая таким образом любезный жест в сторону римских демократических группировок, но вместе с тем и намекая на грубоватость победителя кимвров, который не слишком-то ценил поэтическое творчество (§ 20 сл.). Соединение имен Лукулла и Мария сделано очень ловко посредством такого святого звена, как творчество Луция Плотия, известного риторика, впервые введшего в Риме преподавание на латинском, а не на греческом языке<sup>15</sup>. Очевидно, что упоминание Плотия (который как поэт нам совершенно неизвестен), на которого возлагал надежды Марий, наряду с Архием, состоявшем при Лукулле, должно было показать полную беспристрастность Цицерона по крайней мере в отношении к поэтам как таковым.

Но все-таки, ведя защиту Архия, Цицерону надо было доказать, что его подопечный не только не меньше заслуживает внимания и уважения как поэт писавший на *греческом* языке, но, наоборот, даже больше, так как,—указывает Цицерон,—греческий язык — язык международный, а латинский ограничивается пределами Лация (§ 23)<sup>16</sup>.

Не следует, однако, думать, что Цицерон был таким крайним эллинофилом, или грекоманом, что ни во что не ставил латинскую поэзию или предпочитал греческий язык своему родному; как мы увидим дальше, он даже готов был иной раз отдать предпочтение латинскому языку, но в данном случае ему нужно было как можно больше возвеличить Архия.

Этим, собственно говоря, и заканчивается Цицероново «похвальное слово»; в остальной части речи он в общем повторяет свои аргументы, подкрепляя их только примерами и вместе с тем стараясь оживить в своих слушателях стремление к славе, чему способствуют поэты.

<sup>15</sup> Об этом Плотии Светоний («О знаменитых раторах») говорит, что его называли надутым (собственно «объевшимся ячменем»), но это прозвище явно исходит от сторонников греческого воспитания.

<sup>16</sup> «В то время греческий язык был языком международным, распространенным по всем частям обширной римской державы, отчасти благодаря тому, что повсюду были рассеяны греческие колонии, отчасти, и главным образом, вследствие господствующего значения греческой науки и греческой литературы.— Латинский язык был, правда, в то время официальным языком римского государства на всем пространстве римской державы, но собственно латинское население группировалось главным образом только в пределах Лация, да в колониях, основанных римлянами. После приобретения италийскими союзниками римского права гражданства, латинский язык начал распространяться мало-помалу среди городского населения по всей Италии, но так, что, например, в Кампании еще во время извержения Везувия, похоронившего под золою Помпеи, население тех городов в значительной степени употребляло местное (осское) наречие, как свидетельствуют найденные там надписи. С греческими же городами даже римские власти долго сносились на греческом языке». (М. Туллий Цицерон. Речь за поэта Архия... И. В. Нетушил, ч. II, стр. 43 сл., СПб., 1913).

Таким образом основные положения, высказанные Цицероном в речи за Архия, сводятся к следующим:

1. К литературным произведениям и к занятиям изящной литературой не следует относиться с пренебрежением как к какому-то только досужему времяпрепровождению, так как

а) литература дает не только приятный, но и полезный отдых человеку, занятому общественной деятельностью,

б) литература содействует воспитанию и развитию в человеке доблести.

2. К писателям и особенно к поэтам надо относиться с высоким уважением, так как последние обладают истинно божественным дарованием, благодаря которому они могут воспевать подвиги выдающихся представителей народа и тем самым возвеличивать его славу.

3. Высшей чести достоин тот поэт, который не довольствуется своим дарованием, а развивает его и совершенствует<sup>17</sup>.

Отсюда совершенно ясно, что основным требованием Цицерона к изящной литературе было ее общественно-полезное направление. Недаром в самом начале своей «похвалы литературе» он говорит: «Да будет стыдно тем, кто настолько зарылся в книги, что не могут извлечь из них никакой практической пользы для общества так, чтобы это было всем ясно и видно» (§ 12). Цицерон никак не уточняет и не развивает подробнее это, брошенное им мимоходом, замечание, но тем не менее вряд ли можно усомниться в том, на кого он намекает в области римской художественной литературы. Это очевидно те беззаботные и праздные (otiosi) поэты-александринисты, которых Цицерон называет в одном из писем к Аттику «неотериками» (οι νεότεροι), то есть по-нашему «модернистами»<sup>18</sup>, а в «Тускуланских беседах»<sup>19</sup> еще более презрительно «подголосками Эвфориотта» (cantores Euphorionis)<sup>20</sup>. Это была целая плеяда поэтов, возглавлявшихся ученым филологом Валерием Катонном и Лицинием Кальвом, который был не только поэтом, но и оратором, сторонником чистого аттического красноречия, противником которого был Цицерон. Но мы бы никак не могли су-

<sup>17</sup> Это последнее положение, правда, не высказано с полной определенностью, но видно из замечания об Архии в конце § 19 из анекдота о Сулле, наградившем какого-то плохого поэта за посвященное ему стихотворение под тем условием, чтобы он больше ничего не писал (§ 25), и из вскользь брошенного замечания о неуклюжих поэтах родом из Кордубы (§ 26).

<sup>18</sup> Письма к Аттику, VII, 2, 1 (по нумерации русского перевода, изд. АН СССР — № ССХП).

<sup>19</sup> III, 19, § 45.

<sup>20</sup> Эвфорион, родом из Халкиды, автор ученых и темных мифологических поэм в стиле Каллимаха и Ликофрона. От его произведений дошли только фрагменты.

дить об этой школе поэтов, от которых дошли только фрагменты их произведений, не будь в нашем распоряжении целого сборника стихов одного из них — стихов Катулла. Каковы были поэтические «занятия» этих «подголосков Эвфориона» можно лучше всего судить по Катуллову переводу стихотворной поэмы Каллимаха о волосах царицы Береники, по поэме о свадьбе Пелея и Фетиды, а с другой стороны, по целому ряду небольших стихотворений Катулла, вроде послания, обращенного к Лицинию Кальву (№ 50 сборника Катулла). Оно настолько характерно для «поэтов-бездельников», пренебрегавших общественной жизнью и государственной карьерой, что лучше всяких комментариев выясняет (по крайней мере в одном отношении) характер их творчества:

**Друг Лициний! Вчера, в часы досуга  
Мы табличками долго забавлялись.  
Превосходно и весело играли.  
Мы писали стихи поочередно.  
Подбирали размеры и меняли.  
Пили, шуткой на шутку отвечали.  
И ушел я, твоим, Лициний, блеском  
И твоим остроумием зажженный.  
И еда не могла меня утешить,  
Глаз бессонных в дремоте не смыкал я,  
Словно пьяный ворочался в постели,  
Поджидая желанного рассвета,  
Чтоб с тобой говорить, побыть с тобою.  
И когда, треволеньем утомленный,  
Полумертвый, застыл я на кровати,  
Эти строчки тебе, мой самый милый,  
Написал, чтоб тоску мою ты понял.  
Берегись же, и просьб моих не вздумай  
Осмеять и не будь высокомерным,  
Чтоб тебе не отмстила Немезида!  
В гневе страшна она. Не богохульствуй!**

*(Перевод А. И. Пиотровского)*

Это одна сторона творчества римских «модернистов» времен Цицерона, против которых он восстает, несмотря на то, что в своей юности сам пописывал стихи в духе поэтов-александринистов. Что касается другой стороны их творчества, когда они действительно «зарывались в книги» и забывали обо всем, помимо своей «ученой» поэзии, то, кроме упомянутых уже небольших поэм Катулла, о ней может свидетельствовать работа поэта Гельвия Цинны над небольшой поэмой о мифологической

героине Смирне, продолжавшаяся девять лет и потребовавшая  
целого ученого комментария<sup>21</sup>.

Цицерону была чужда не только тематика римских модернистов, для которых характерной была, с одной стороны, индивидуалистическая лирика с явным уклоном в сторону эротической поэзии, а с другой, вычурные мифологические эпиллии (небольшие по объему и узкие по тематике поэмы), но и нарочитая изысканность их формы, выражавшаяся и в злоупотреблении разнообразными и сложными лирическими размерами, а также во введении в такой классический размер эпоса, как дактилический гексаметр, всяких новшеств, из которых над одним — нарочитым введением спондея в пятую стопу — Цицерон насмехается в упомянутом выше письме к Аттику.

Цицерон не хотел видеть того, что эти «неотерики» в своей поэзии стремились к тому же, к чему всегда стремился сам Цицерон — к совершенствованию латинской литературной речи. Но, совершенствуя язык своей прозы, очищая ее от неуклюжих оборотов и создавая ясную, простую литературную латинскую речь, а в своих письмах сообщая ей непосредственную живость разговорного языка, Цицерон в области поэзии оставался твердым поклонником поэтического стиля Энния, язык которого ко временам Цицерона был уже явно устарелым даже для героического эпоса.

Однако, может быть, главной причиной презрительного отношения к модернистам было их «безделье», нежелание деятельно участвовать в общественной жизни на благо своих сограждан, что наверное проявлялось даже у Лициния Кальва, который был не только поэтом, но и оратором. А служение обществу Цицерон считал неременной обязанностью римского гражданина, как это видно по его постоянным высказываниям, из которых одним из самых характерных было окончание письма к его другу, эпикурейцу Луцию Папирию Пету от начала февраля 43 года (то есть уже после смерти Юлия Цезаря): «...если любишь меня, не подумай, будто я, оттого что пишу шутливо,— [а таковы все письма Цицерона к Пету] — отбросил заботу о государстве. Будь уверен, мой Пет, вот в чем: дни и ночи я делаю только одно, забочусь только об одном — *чтобы мои сограждане были невредимы и свободны*. Не упускаю случая советовать, действовать, принимать меры. Словом, я в таком настроении, что *если в этой заботе и хлопотах мне нужно будет положить жизнь, я сочту свой конец прекрасным*»<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> См. 95-е стихотворение Катуллы. См. М. М. Покровский. История римской литературы. АН СССР, М.—Л., 1942, стр. 112

<sup>22</sup> Письма к друзьям, IX, 24, 4, письмо DCCCXX, изд. АН СССР, т. 3 стр. 364.

Если и можно заподозрить и даже не без основания упрекать Цицерона в пристрастии его к некоторой напыщенности при подобных высказываниях, то в данном случае такое подозрение неуместно. Не следует забывать, что письмо к Пету написано тогда, когда автор его не мог не сознавать всей безнадёжности своего положения и крушения своих идеалов. И вот в словах его, полных в этом письме искреннего чувства, видна и глубокая любовь к родине, и сознание гражданского долга, и, вместе с тем, предчувствие трагического конца не только собственной жизни, который и пришел меньше чем через год, но и падения римской республики, гибель которой<sup>23</sup> Цицерон предсказывал уже три года назад в своем «Бруте»<sup>23</sup> словами, так ярко переданными Тютчевым в стихотворении «Цицерон»:

**Оратор римский говорил  
Средь бурь гражданских и тревоги:  
«Я поздно встал и на дороге  
Застигнут ночью Рима был»<sup>24</sup>**

Конечно Цицерон никогда не забывает ставить себе в заслугу свою деятельность в римском государстве и при всяком удобном случае напоминает о своем консульстве и подавлении заговора Каталины, но не менее важной заслугой перед родиной считает он и свою литературную деятельность. Это видно и в речах Цицерона, и в его письмах, и в его диалогах. Выражено это, и при том со свойственным ему горьким юмором, и в только что указанном нами параграфе «Брута», где Цицерон называет себя как бы опекуном римского красноречия, осиротелого после смерти Гортенсия и подвергающегося, подобно девушке на выданье, атакам никому не ведомых и наглых искателей и поклонников<sup>25</sup>, под которыми он понимает ораторов из окружения Юлия Цезаря<sup>26</sup>.

Вот эту свою роль в доле служения римскому народу Цицерон считал исключительно важной и посвятил ей свою литературную деятельность.

В речи за поэта Архия Цицерон, при оценке роли художественной литературы и значении ее для общества, имеет в виду преимущественно эпическую поэзию. Это объясняется далеко

<sup>23</sup> «Брут» был написан в первой трети 46 года. См. предисловие Марта к изданию этого диалога (Париж, 1892, стр. I—II).

<sup>24</sup> Ср. «Брут», 96, § 330.

<sup>25</sup> Если понимать слова Цицерона с формальной точностью, то выходит, что таким «опекуном» он считает не только себя, но и Брута: «Nos... quasitutores relicti sumus», но, разумеется, это «Nos» следует понимать как ловко примененный pluralis modestiae. Брут, однако, мог быть польщен.

<sup>26</sup> См. примечание Марта к § 330 «Брута» (стр. 242).

не тем, что он взялся защищать поэта, специальностью которого был эпос, а тем, что из всех видов поэзии наибольшее значение он придавал тем литературным произведениям, которые изображают картину жизни народа и государства и поэтому приносят наибольшую пользу обществу. Такое отношение Цицерона к эпосу видно по его отзывам об Эннии, прославившемуся своей «Летописью», поэмой, посвященной истории Рима. Для Цицерона Энний «величайший поэт» (*summus poeta*), как он называет его устами оратора Красса в диалоге «Об ораторе» (I, 45, § 198), «величайший эпический поэт» (*summus epicus poeta* — «О наилучшем роде ораторов» I, § 2), значительно превосходящий своего предшественника Невия («Врут» 19, § 76), к которому, однако, опять-таки как к *эпическому* поэту, Цицерон тоже относится с глубоким уважением, говоря, что поэма его «Пуническая война» доставляет такое же эстетическое наслаждение, как скульптуры ваятеля Мирона (там же) <sup>27</sup>.

На втором после эпоса месте для Цицерона, как для общественного деятеля и оратора, стоит *трагедия*, из двух главных представителей которой — Акция и Пакувия, он отдавал предпочтение второму, заслуживающему названия величайшего трагического поэта («О наилучшем роде ораторов» I, § 2) и считавшемуся его ценителями выше самого Энния по тщательной отделке стихов («Оратор» II, § 36); высокой оценке Пакувия не мешает брошенный ему Аттиком в «Бруте» (74, § 258) упрек в плохом латинском языке: Пакувий ценен для Цицерона главным образом его искусством передавать душевные движения, в чем он превосходит, по мнению Цицерона, даже Софокла («Тускуланские беседы» II, 21, § 49).

Именно в этом отношении особенно ценен для Цицерона, очевидно, и другой драматург — комик Цецилий Стаций, которого, кстати сказать, Цицерон тоже порицает за его латинский язык («Брут» 74, § 258 и Письма к Аттику, VII, 3, § 10). То, что Цицерон высоко ценил Цецилия именно за его мастерство в изображении душевных движений, за его «пафос», видно по цитатам из его комедии «Синефебы» в произведениях Цицерона <sup>28</sup>, который цитирует стихи и из других его комедий.

Цицерон был прекрасно знаком и с латинской и с греческой художественной литературой, отлично умел подобрать нужную ему цитату из любого писателя (правда, кроме своих

современников), дать в своем переводе отрывки из «Илиады», «Одиссеи», из трагедий Эсхила, Софокла, Еврипида и других греческих авторов; он переводит поэму Арата, сочиняет поэму о Марии, о своем консульстве, пишет эпиграммы — словом являет себя и знатоком поэзии и поэтом. Но все-таки основным его творчеством остается всегда ораторское искусство, в котором он показал себя и непревзойденным практиком и тонким знатоком-теоретиком. В свои зрелые годы он прекрасно это осознал и всецело посвятил этому искусству почти всю свою литературную деятельность.

Правда, в своих трактатах по ораторскому искусству он постоянно говорит о поэзии, но систематического сочинения на эту тему он не оставил; а высказывания его по поводу поэтических произведений и особенно его характеристики отдельных представителей латинской художественной литературы в подавляющем большинстве случаев беглы и поверхностны. Так, о крупнейшем римском комике Плавте он довольствуется замечанием, что он, подобно авторам древней аттической комедии, изящен, тонок, даровит и остроумен («Об обязанностях», I, 29, § 104), о Теренции он говорит, что его комедии за изящество языка приписывали Гаю Лелию (Письма к Аттику, VII, 3, § 10), о поэме Лукреция, что «в ней много проблесков природного дарования, но вместе с тем и искусства» («Письма к брату Квинту», II, 9, 3); в своем историко-литературном диалоге «Брут» Цицерон ограничивается историей ораторского искусства, а о латинских поэтах упоминает только мельком.

Но зато в тех случаях, когда Цицерон рассуждает об ораторском искусстве, главным образом в трактатах «Об ораторе» и «Оратор», произведении, которое он сам очень ценил (см. Письма к друзьям, VI, 18, 4), мы находим у него множество интересных замечаний и наблюдений, касающихся поэтического искусства.

Надо сказать, что воззрение на ораторское искусство в древности (разумея под этим словом древнюю Грецию и Рим) и в новое время коренным образом изменилось. В историях литературы нового времени ораторское искусство не рассматривается; исключение делается только для некоторых авторов, как, например, для Ломоносова, торжественные речи которого изучаются как литературные произведения; но речи характера политического, а уж тем более речи судебные, хотя бы они принадлежали крупнейшим мастерам слова и были бы опубликованы, остаются вне поля зрения историков литературы. Но не так смотрели на ораторское искусство в Греции и Риме: ему специально обучались, о нем писали теоретические сочинения, а речи ораторов рассматривались как художественные произведения наряду с произведениями других мастеров слова. Поэто-

<sup>27</sup> Произведения этого старшего современника Фидия и Поликлета Цицерон очень ценил, несмотря на то, что считал их недостаточно естественными (*pondum... satis ad veritatem adducta* — «Брут», 18, § 70).

<sup>28</sup> «О природе богов», I, 6, § 13 и III, 29, § 72; «О старости», 7, § 24; «Тускуланские беседы», I, 14, § 31 (та же цитата); «За Целия», 16, § 37 (эта цитата, впрочем, может быть и из другой комедии Цецилия, так как Цицерон не указывает названия пьесы).

му и историки античной литературы рассматривают речи Демосфена, Лисия, Цицерона так же, как изучают Гомера, Софокла, Плавта. Что же касается Цицерона, то он не только считал деятельность оратора деятельностью художника слова, но и ставил ораторское искусство, как орудие общественной деятельности, едва ли не выше других областей словесного творчества. Поэтому Цицерон всю свою жизнь стремился к совершенствованию своих речей и, как говорит Тацит в «Разговоре об ораторах» (гл. 22), «он первый [разумеется в Риме — Ф. П.] стал тщательно обрабатывать речь, первый обратил внимание на выбор выражений и на искусство композиции, сделал попытку ввести более блестящие места и изобрел некоторые остроумные выражения, особенно в тех речах, которые сочинил уже в старости и под конец жизни, то есть, после того, как он дальше ушел вперед и из практики и опытов узнал, какой род красноречия лучше всех других»<sup>29</sup>.

Имея в виду такое отношение Цицерона к ораторскому искусству, как к художественному творчеству, отношение, которое он воспринял главным образом у греческих мастеров слова и теоретиков ораторского искусства, можно легко понять, почему он в своих теоретических трактатах постоянно сопоставляет речь оратора с поэтическими произведениями и сравнивает законы языка оратора с законами языка поэта. Для Цицерона вовсе нет принципиальной разницы между ораторской *прозой* и *стихами* поэтических произведений, разницы, которую обычно так резко различаем мы. Это особенно хорошо видно по рассуждению Цицерона в «Ораторе», где, указав на то, что не трудно убедиться в наличии известного ритма в прозаической речи на основании непосредственного чувства, а не теоретических соображений, Цицерон продолжает (55, § 183): «Ведь и самый стих открыт не теоретическим умствованием, а природой и естественным чутьем, а теория уже впоследствии путем измерений объяснила, что здесь происходит. Так, наблюдение и внимательное отношение к естественным явлениям породили искусство»<sup>30</sup>. И продолжая свое рассуждение, Цицерон обращает внимание не только на то, что в отношении стихов это видно яснее, но и на то, что если их не петь (или произносить нараспев), то они ничем почти не будут отличаться от прозы. Он ссылается при этом на стихи греческих лириков и на бакхий из Энниева «Гиеста», то есть на сложные ритмы, структура которых действительно настолько сложна, что, не сопровождаемая мелодией, не будет производить впечатление стихов; что же касается

<sup>29</sup> Перевод В. И. Модестова. (Сочинения Корнелия Тацита, том II, стр. 557, СПб., 1887).

<sup>30</sup> Перевод А. Н. Зографа. (Античные теории языка и стиля, Гос. социально-экономическое издат., М.—Л., 1936, стр. 248).

сенариев комиков (т. е. шестистопных ямбов в диалоге комедий), то они, говорит Цицерон, вследствие сходства с разговорной речью, настолько небрежны, что иной раз в них и не заметишь стихотворного размера (иными словами, диалогические части комедий строятся так, что звучат как самый обыкновенный разговор — совершенно естественно).

Вот в этой-то *естественности* Цицерон и видит главное достоинство истинно художественных произведений, независимо от того, к какому роду искусства они относятся — будет ли то скульптура, живопись или литературное произведение. Но эта естественность вовсе не предполагает пренебрежения к отделке произведения: она достигается внимательным изучением и умелым использованием законов, предписываемых природой. А эти законы далеко не одинаковы для разного рода художественных произведений. И эти законы вовсе не выдуманы, так как нарушение их сразу чувствуется даже самыми простыми и неучеными людьми, которые всегда заметят всякую ложную искусственность и неправильность в любом произведении. Так, если оратор нарушит ритмические законы речи, или не обращая на них внимания, или усложняя ее неподходящими приемами, речь его не только не доставит удовольствия слушателям, но и не убедит их, то есть не достигает цели и потеряет всякий смысл; а если в стихах, произносимых актерам со сцены, «хотя бы один слог окажется короче или длиннее, чем следует, весь театр поднимет крик, а между тем толпа зрителей не знает стоп, не владеет стихотворными размерами и, когда ее слух оскорблен, не отдает себе отчета, чем, почему и в чем она оскорблена; и однако сама природа вложила в наши уши чуткость к долготе и краткости звуков, так же как к высоким и низким тонам» («Оратор, 51, § 173»<sup>31</sup>).

Но «естественность», которой требует от художественных произведений Цицерон, далеко не однородна: то, что естественно для поэтического произведения (как-то метафоры, архаизмы, неологизмы и т. п. украшения, вполне законные и естественные в поэзии, если они органически связаны с поэтическим произведением), не может быть естественным для ораторской речи. И Цицерон всю свою жизнь наблюдал за тем, чтобы его произведения звучали естественно и соответственно роду и стилю произведения. «А каков, я по-твоему в письмах? — спрашивает он одного из своих друзей («Письма к друзьям», IX, 21, 1) — Неправда ли, я говорю с тобой народным языком... В судебных речах мы говорим тоньше, изысканнее; ну а письма мы обычно пишем повседневными выражениями». Требование Цицерона, чтобы язык произведения соответствовал его сущ-

<sup>31</sup> Перевод А. Н. Зографа (указ. соч., стр. 246).

ности, чтобы он подходил к естественным требованиям тех лиц, к которым обращено и на которых рассчитано это произведение, тщательно соблюдалось им самим и оказало плодотворное влияние на крупнейших писателей следующих за ним поколений, как, например, на Горация, Вергилия, Петрония и других; а знаменитый оратор Квинтилиан так развил приведенные нами слова Цицерона: «Некоторые считают естественным только то красноречие, какое в точности походит на повседневный язык, каким мы говорим с друзьями, женами, детьми и слугами и какой достаточен для передачи желаемого смысла, не нуждаясь ни в какой обдуманности и отделке... По-моему, у языка обыкновенного какая-то одна сущность, а у речи совершенного оратора другая» («О воспитании оратора» 12, § 10, 40, 43).

Решительно восставая против искусственности в языке художественных произведений, Цицерон также резко осуждает тех авторов, которые пренебрегают всякой наукой и довольствуются в своем творчестве одним только природным дарованием, рассчитывая на свои способности и чутье. Рассуждениям на этот предмет посвящена главным образом его беседа «Об ораторе». Применяя к основному требованию Цицерона терминологию Пушкина<sup>32</sup>, мы с полным правом можем сказать, что Цицерон требовал от создателя художественных произведений в равной мере и *творчества* и *искусства*, которые должны находиться у истинного художника в полном и совершенном равновесии.

Дело Цицерона не пропало. Он осуществил свои теоретические построения на практике и создал для последующих поколений такой же образцовый художественный латинский язык, какой для нас был создан Пушкиным.

<sup>32</sup> Письмо к Плетневу, апрель 1831 года (№ 403 по изд. Академии наук СССР, 1949, т. 10, стр. 346).

Е. А. Беркова

## ЦИЦЕРОН КАК КРИТИК СУЕВЕРИЙ

Бурные события последних лет Римской республики выдвинули на общественную арену ряд политических и государственных деятелей, среди которых видное место занимал Марк Туллий Цицерон. Представляя собою одну из наиболее интересных и своеобразных фигур того времени, Цицерон привлекал к себе с давних времен внимание многочисленных исследователей, чему способствовало в значительной мере и то обстоятельство, что от Цицерона дошло до нас огромное количество работ, на основании которых возможно было с достаточной полнотой и ясностью выявить круг политических и культурных запросов, волновавших не только одного Цицерона, но и многих его современников. В обширной литературе о Цицероне много места уделялось его общественной и политической деятельности, в частности его выступлениям как крупнейшего политического оратора, снискавшего, благодаря своему блестящему таланту, исключительную популярность не только в древности, но и в позднейшие времена.

Не менее важная роль признавалась за Цицероном и в области римской культуры, особенно в истории римской литературы и языка: можно смело сказать, что ни один из римских прозаиков не оказал такого огромного влияния, как Цицерон, на дальнейшее развитие не только своей родной литературы, но и многих других западноевропейских литератур. Велико было также участие Цицерона и в создании литературного латинского языка: будучи пламенным патриотом родного языка, Цицерон со всей присущей ему страстностью пропагандировал его важность и значительность, отмечал его неисчерпаемые богатства и в этом отношении противопоставлял себя многим образованным римлянам, отдававшим открытое предпочтение греческому литературному языку.

Нельзя также обойти молчанием деятельность Цицерона в части систематизации и популяризации им учений различных философских школ, получивших в его время широкое распространение среди образованных кругов римского общества. Не являясь самостоятельным создателем какой-либо философской системы, Цицерон тем не менее выполнил огромную работу: познакомив своих соотечественников с различными течениями в философии, он заинтересовал их этой важнейшей наукой, а подкрепляя свои рассуждения и выводы примерами из римской истории и римского быта, Цицерон в литературной форме разъяснял отвлеченные философские понятия и делал их доступными для широких кругов образованных римлян. Знакомя своих читателей с философскими теориями, Цицерон вместе с тем обогатил также и самый латинский язык, вводя в него философскую терминологию, частично переводя ее с греческого, а частично создавая новые термины на родном языке и тем самым продолжил и расширил работу, начатую великим поэтом древности, философом-материалистом Лукрецием.

В настоящей статье не ставится цель дать подробный анализ политических или философских взглядов Цицерона, равно как исчерпывающе охарактеризовать его деятельность на культурном поприще. Наша задача ограничивается лишь одним вопросом — выявить отношение Цицерона к государственной римской религии и к суевериям, широко распространенным среди самых разнообразных слоев римского общества. Высказывания Цицерона по поводу всевозможных суеверий, широко распространенных в его время, острая критика им различных гаданий, в особенности связанных с предвидением будущего, а также высмеивание нелепых предрассудков, господствовавших даже среди образованных людей, — все это представляет несомненный интерес для изучающих историю античной культуры. Хотя о вреде, вернее о бессмысленности гаданий было написано множество книг уже в древнем языческом мире (Эпикур, Лукреций и др.), самыми замечательными трудами на эту тему являются работы Цицерона, где он, излагая в высоко художественной форме свои доказательства и наблюдения, знакомит читателей с различными видами гаданий и суеверий и тут же подвергает «науку предвидения» меткой и беспощадной критике.

Вместе с тем нельзя не отметить, что, если по отношению к суевериям Цицерон выступал как передовой мыслитель своего времени, приводя блестящие доказательства нелепости существующих предрассудков, то взгляды Цицерона на официальную римскую религию и его высказывания по этому поводу как политического и государственного деятеля находились в явном противоречии с его же собственными рассуждениями

о вреде суеверий, о возможности предвидения будущего и о сущности самой религии.

Мысли и наблюдения Цицерона, связанные с затронутой нами темой, широко рассеяны во многих его произведениях; но наиболее полное и яркое выражение они нашли в его трудах, непосредственно посвященных вопросам предвидения будущего, а именно, в книгах «О предвидении», «О судьбе» и отчасти в работе «О природе богов», вызывавших живой интерес у его современников. Об актуальности этой темы свидетельствовал самый факт широкой популярности философских работ Цицерона и успех их, крайне удививший даже самого автора («О предвидении», II, 2; «О природе богов», I, 3, § 7).

Религия и политика в Риме тесно переплетались друг с другом, и, если в период процветания республики вопросами религии, так же как и философии, занимались мало и ими интересовались лишь отдельные лица, то во времена Цицерона с обострением борьбы между отдельными политическими группировками, эти проблемы начали привлекать к себе внимание самых разнообразных кругов.

Для римского государства всегда было весьма характерным сосредоточение светской и духовной власти в руках одних и тех же виднейших должностных лиц: так, звание верховного жреца, игравшего главную роль в религиозной жизни Рима, соединялось всегда со званием верховного правителя, сначала царя (в период царей), а со времени Августа — со званием императора. Во времена республики верховным жрецом был обычно один из высших светских магистратов, стоявший во главе высшей жреческой аристократии, так называемой коллегии авгуров, избираемой из наиболее уважаемых лиц. Высшие магистраты республики играли главную роль в обрядах, связанных с охраной благополучия римского государства; так, например, молиться за процветание республики мог только консул и лишь с его разрешения авгуры могли гадать по полету птиц.

Для общения с богами существовала определенная группа посредников — истолкователей воли богов; они строго выполняли установленные еще в давние времена обряды, так как религия римлян не допускала ни малейшего отклонения от выработанного ритуала. Римлянин считал себя вправе ожидать и даже требовать от богов исполнения своих просьб только в том случае, если он добросовестно выполнял предписываемые обряды, обращаясь к тому или иному божеству с соответствующими молитвами и жертвоприношениями. Такими посредниками были прежде всего авгуры. О важном значении института авгуров мы находим указания в упоминаниях древних авторов: на основании предсказаний авгуров решались важнейшие дела государства, ими выполнялись обряды, связанные с заботами о

благе римского народа, с состоянием храмов, с охраной полей и т. д. («О законах» II, 8, § 19). «Наука» авгуров, перешедшая к римлянам от этрусков, тщательно скрывалась от широких народных масс; так, установлением сената предписано, чтобы изучением религиозных знаний занимались молодые люди из знатных фамилий для того, чтобы столь важная наука не попала в руки людей низкого звания и не могла быть использована ими в интересах простого народа и во вред правящим классам. С течением времени в эпоху Цицерона и гражданских войн искусство авгуров уже перестало носить столь «засекреченный» характер и сделалось достоянием значительно более широкого круга лиц.

Наряду с гадателями-авгурами имелась и другая категория — предсказателей-гаруспиков, главным образом из чужеземцев-этрусков. К их помощи также прибегали, чтобы узнать волю богов, и к ним обычно обращались прежде, чем приступить к выполнению того или иного задуманного дела.

Если коллегия авгуров была привилегированной организацией, доступ в которую считался почетным, то гадатели-гаруспики стояли значительно ниже на общественной лестнице, чем авгуры, и, вследствие своей откровенной беспринципности, часто пользовались вполне заслуженной репутацией шарлатанов («О предвидении», II, 24, § 52; II, 58, § 132). Как правило, гаруспики не имели права занимать высшие государственные должности, и назначение их на ответственные посты воспринималось как нарушение установленных традиций. Указание на это мы находим, например, в письме Цицерона к Квинту Лепте, где, говоря о запрещении избирать глашатаев в муниципальный совет, Цицерон писал: «Ведь было бы невыносимо, если бы тем, кто когда-либо был глашатаем, не дозволялось быть декурионами в муниципиях в то время, когда те, кто сегодня совершает гадание по внутренностям, избираются в сенат»<sup>33</sup>. (Письма к друзьям, VI, 18). Цицерон здесь намекал на гаруспика Руспиноу и возмущался тем, что тот, вопреки обычаям, по воле всемогущего Юлия Цезаря, был сделан сенатором. Но, как бы то ни было, гаруспики принимали деятельное участие в политической жизни, обычно держа сторону сената и охраняя права высших сословий.

Классовый характер римской религии, являвшейся послушным орудием в руках правящей верхушки, не был скрыт от взоров наиболее образованных людей своего времени. Указания на связь религии и государственной власти мы находим и у Аппиана в «Гражданской войне» (IV, 4) и в работах Цицерона. Так,

<sup>33</sup> Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику, близким, брату Квинту, М. Бруту, т. III, 46—43 г. до н. э. Перевод и комментарии В. О. Горенштейна. Изд-во АН СССР. М.—Л., 1951.

например, Цицерон заявлял, что «никогда предки не были так благоразумны и так умудрены богами, как в то время, когда они решили, что одни и те же лица должны ведать и религией и управлением республикой. Таким образом, должностные лица и жрецы, надлежащим образом исполняя свои обязанности, общими силами спасали государство» («О своем доме» I, § 1). Такую же мысль высказывал и историк Дион Кассий, рассказывая о том, что первые люди римского государства выполняли обязанность верховных жрецов, считая, что искусство предвидения не менее достойно правителя, чем умение управлять государством. Поэтому предсказания оракулов рассматривались как дело государственной важности и без разрешения сената не открывались простому народу (Дион Кассий 39, § 5).

Римская религия, игравшая столь важную роль в государственной жизни Рима в ее первоначальном виде, вполне соответствовала духу рационализма и практицизма, свойственного римскому народу. Но по мере укрепления могущества римского государства и расширения его территории, римляне знакомились с новыми чужеземными культами, проникнутыми мистическими учениями и внесшими в государственную римскую религию ранее не свойственные ей представления. Появились новые боги, которые получили всеобщее признание и которым поклонялись наряду со старыми римскими божествами, стали воздвигать новые храмы, широко распространилась вера в чудеса и во всевозможные гадания. Гадания по полету птиц, по внутренностям жертвенных животных, толкования снов и изречений оракулов — все это привлекало суеверные умы и пользовалось у римлян большой популярностью.

Мистические настроения находили своих приверженцев и в кругу простого народа и среди образованных высших классов римского общества. Пламенным защитником мистики и магии был, например, Нигидий Фигул, современник и друг Цицерона. Суеверия достигли пышного расцвета особенно в эпоху гражданских войн и политической борьбы вождей различных партий в конце республики: оракулы и гадания играли в это время исключительную роль. Так, в лагере Помпея были прорицатели, сулившие ему победу, и их предсказания оказывали свое влияние на умы даже скептически настроенных людей. Цицерон рассказывал в книге «О предвидении» (I, 32, § 68) о предсказании, потрясшем Катона и Варрона, сделанном греческим матросом перед сражением при Диррахии. В этом предсказании говорилось, что «меньше чем через месяц Греция будет залита кровью, Диррахий захвачен и что, убегая, они сядут на корабли; во время бегства они увидят за собою пожары, зрелище, вызывающее скорбь, но что флоту родосцев будет дана возможность скорого возвращения домой». Даже неверующие люди

приносили торжественные обеты, чтобы снискать милость божества. Так, Юлий Цезарь, по существу равнодушно относившийся к религии и, по свидетельству Светония, проявлявший полное пренебрежение к религиозным обрядам («Юлий Цезарь» 59, § 78), что не мешало ему, однако, весьма старательно добиваться должности верховного жреца, дал обет перед Фарсальской битвой: в случае победы воздвигнуть храм в честь Венеры, родоначальницы дома Юлиев.

О широком распространении веры в чудеса и сновидения можно узнать также из произведений крупнейших писателей: упоминание об этом мы находим у Лукана в его поэме «Фарсалия», у Плиния Младшего в его письме к Светонию по поводу предстоящего судебного процесса (Письма I, 18)<sup>34</sup>, даже у ученого Плиния Старшего, написавшего, по словам его племянника, свою работу «Германские войны в двадцати книгах» под влиянием вешего сна. Рассказывая об ученых трудах своего дяди, Плиний Младший писал: «Он начал это сочинение («Германские войны».— *Е. Б.*), когда был на войне в Германии, по указанию сновидения. Во время сна ему явился призрак Друза Нерона, покорившего в Германии широчайшие пространства и в Германии же погибшего: он поручал дяде заботу о своей памяти и просил спасти его от несправедливого забвения» (Письма III, 5, 4).

Философские работы Цицерона, касающиеся вопросов религии и суеверий, были написаны им в 46—44 гг. до н. э., когда кипучая общественная деятельность Цицерона как видного политического адвоката конца республики была прекращена помимо его воли. Вынужденный отойти от политики, Цицерон в последние годы своей жизни обратился к систематическим занятиям философией, которым он уделял сравнительно мало внимания в период расцвета своей политической карьеры. Оставшись не у дел в крайне тяжелом и подавленном состоянии, Цицерон писал Аттику и другим корреспондентам письма, проникнутые глубоким пессимизмом. В письме к своему другу Нигидию Фигулу Цицерон, характеризуя свое моральное состояние, говорил, что в настоящее время «он лишен всякой возможности не только действовать, но даже и думать» (Письма к друзьям IV, 13) и пытался обрести душевное спокойствие в занятиях философией. В письме к Сервию Сульпицию Руфу Цицерон указывал, что он направил все свои старания и труд на занятия философией, убедившись, что для той науки, которую он когда-то изучал, совсем нет места ни в курии, ни на форуме (Письма к друзьям IV, 3).

Ту же мысль он проводил и в других письмах к друзьям —

<sup>34</sup> Письма Плиния Младшего. Перевод М. Е. Сергеевко, А. И. Доватура и В. С. Соколова. Изд-во АН СССР, М.—Л., 1950.

к Бальбу и Требиану, где, жалуясь на то, что государство не признает его заслуг и несправедливо к нему относится, указывал, что он ищет себе прибежища в занятиях философией и литературой, которые при счастливых обстоятельствах его жизни доставляли ему удовольствие, а теперь для него являются спасением (Письма к друзьям VI, 12).

О том, что занятия философией являлись для Цицерона лишь временным прибежищем, свидетельствует тот факт, что после смерти Цезаря, когда Цицерон стал опять мечтать о возвращении к политической деятельности, он отложил в сторону свои ученые занятия философией.

Вместе с тем, желая придать себе наибольшее значение и вес в глазах своих современников, Цицерон заявлял, что свою работу над философскими произведениями он рассматривал в известной мере и как выполнение им своего гражданского долга. Об этом он упоминал и в своих письмах и в работах «О предвидении» (II, 1, § 1) и «Об обязанностях» (II, 1, § 2—4), а также и в других, говоря, что он пишет для поучения своих сограждан, стремясь хоть в этом быть полезным своей родине.

Еще в юном возрасте Цицерон познакомился с различными философскими течениями и школами, слушая эпикурейца Федра, стоика Диодора, представителя Новой Академии Филона, и других. Ни одна из существующих в то время философских школ не оказала на Цицерона решающего влияния; при рассмотрении его философских произведений можно с уверенностью сказать лишь то, что Цицерон в основном принимал главные положения школ идеалистического направления, ведущих свое начало от Сократа, Платона и Пифагора, и отрицательно относился к философам материалистам, в особенности к сторонникам учения Эпикура, против которых он неоднократно выступал в своих работах.

В своих книгах «О природе богов», «О судьбе», «О предвидении» и других Цицерон изложил взгляды представителей трех виднейших и наиболее известных в то время философских школ: эпикурейцев, стоиков и новоакадемиков, эклектически соединяя из их учений то, что ему казалось наиболее подходящим для развития выдвинутых им положений.

Так, например, в трактате «О природе богов», по замыслу Цицерона, доказательства, приводимые философом школы Эпикура, разбивались представителем стоической школы, а стоиков в свою очередь опровергал живыми и остроумными доводами сторонник Новой Академии. Цицерон мало где высказывал прямо свою точку зрения, но все же можно установить, что его взгляды были более всего сходны с мнениями верховного жреца Котты, вместе с которым Цицерон в дни юности слушал курс в Афинах у новоакадемиков. Поэтому Цицерон часто высказы-

вал свои собственные мысли от имени Котты («О природе богов» I, 21, § 57; I, 24, § 60; I, 32, § 91; II, 1, § 2).

Разбирая и критикуя, хотя и не всегда последовательно, отдельные положения различных философских школ, Цицерон в занимательной и доступной форме высказывал не только свои взгляды, но и взгляды многих образованных людей на религию и суеверия.

Большинству своих философских произведений Цицерон придавал распространенную в его время диалогическую форму, о чем он и писал в своем письме к Марку Варрону, предупреждая его о том, что он и его, Варрона, сделал соучастником своих философских бесед (Письма к друзьям IV, 8). Эти диалоги, ведущие свое начало от диалогов Платона, строились Цицероном несколько иначе по сравнению с платоновскими диалогами: у Цицерона выступало обычно одно лицо, высказывая свою точку зрения по поводу тех или иных положений, а затем уже другой собеседник опровергал высказанные первым соображения; таким образом, каждый собеседник излагал свои мысли как бы в виде небольшого доклада. Как участник философских дискуссий своих диалогов, Цицерон сам выступал редко и предпочитал оставаться в тени в качестве слушателя-свидетеля, лишь изредка вставляя свои замечания и придавая этим приемом известную живость своим диалогам.

В работе «О предвидении», состоящей из двух книг, к рассмотрению которой мы непосредственно и переходим, Цицерон в живой и увлекательной форме рассказывал о том, как прогуливаясь вместе с братом Квинтам в окрестностях своей тускуланской дачи, он вел с ним беседу, продолжая обсуждение вопросов, изложенных в книге «О природе богов», но затронутых там лишь в самом общем виде. Квинт отстаивал здесь точку зрения стоиков и был выведен Цицероном как человек весьма консервативных взглядов, защищающий самые нелепые предрассудки и суеверия, которые опровергались самим Цицероном во 2-й книге «О предвидении». То же содержание по существу мы находим в работе «О судьбе» и в других сочинениях, где Цицерон излагал противоположные точки зрения стоиков и новоакадемиков на значение и роль судьбы.

В 1-й книге «О предвидении» Квинт разбирает всевозможные случаи предсказаний и подробно развивал аргументацию стоиков, выводя веру в предсказания из веры в существование богов.

Стоики, в частности Посидоний, связывали дар прорицания с божеством, затем с судьбою и, наконец, с самой природой. Предвидение будущего, установленное богами, являлось, по мнению стоиков, следствием доброты божества и заботы его о людях. Стоики доказывали, что в природе существует опреде-

ленная закономерность, и что между внешне разнородными явлениями существует тесная связь, как, например, менаду событиями из жизни частного человека и расположением внутренностей жертвенных животных или поведением священных птиц. Исход этих событий, установленный роком с соизволения богов, можно раскрыть посредством предвидения будущего. Божество могло изъявлять свою волю путем непосредственных знаков, доступных для понимания души человека в определенные моменты его жизни или в состоянии, способствующем восприятию предсказаний божества: под влиянием музыки или при созерцании природы или в минуты тяжелой болезни или перед смертью («О предвидении» I, 50, § 114). Вопрос о предвидении играл у стоиков важную роль, и у них имелась подробно разработанная система всевозможных гаданий и предсказаний.

В качестве доказательства правильности положений стоической школы в части предвидения Квинт много внимания уделял примерам из жизни исторических лиц с их снами и гаданиями, а также большое место отводилось предсказаниям, сделанным в свое время героями и персонажами различных мифов. Свою веру в предвидение будущего Квинт подкреплял также указанием на то, что предки признавали предвидение будущего, и приводил предсказания легендарных жрецов Калханта, Мопса, Амфиарая и других. Одним из важных доказательств Квинт считал то обстоятельство, что вера в предвидение широко распространена среди всех народов и что в этом отношении римляне не являлись исключением.

Излагая доводы Квинта, Цицерон часто прибегал к цитированию отрывков из древних римских поэтов, а также из поэм Гомера. Этот прием — введение поэтических образцов — весьма характерный для Цицерона, большого любителя и знатока литературы, оживлял мало убедительные рассуждения Квинта. Интересно отметить, что, приводя отрывки из Энния, Акция, Пакувия и других, Цицерон любил вставлять также цитаты и из своих собственных поэтических произведений, иногда в виде довольно значительных отрывков, своеобразно рекламируя таким образом и свои поэтические труды.

Вторая книга «О предвидении» представляет для нас наибольшую ценность, так как в ней раскрываются взгляды самого Цицерона, и он выступает непосредственно сам, разбивая положения стоиков, выдвинутые Квинтам. Упомянув в начале книги о всех своих работах, где он касался вопросов предвидения, а также и о своих риторических трудах, Цицерон переходит к критике системы стоиков.

Разделяя основные положения стоиков о сущности богов, о небесном провидении, а также об управлении мира божествен-

ной силой, Цицерон допускал возможность вмешательства богов в человеческие дела, о чем он неоднократно говорил и ранее в своих философских произведениях — «О законах» и «О государстве» («Сон Сципиона»). Но положение о существовании рока, о неизбежности его вызывало возражения Цицерона, считавшего, что при наличии рока и фаталистического понимания всего совершающегося в природе исключалась идея заботы божества о людях и возможности для богов предупреждать человека о будущем. Критикуя положения стоиков, Цицерон указывал, что согласовать могущество божества и неизбежность рока невозможно, и как вывод из этого являлось опровержение им предвидения будущего, предсказаний и всевозможных видов оракулов.

Самой интересной частью работы, к подробному рассмотрению которой мы и переходим далее, являются те главы, где Цицерон возражал против всех видов гадания (12—16), против истолкования различных явлений природы как чудес, ниспосланных богами (14—21), против ауспий (33—40), против веры в жребий (41), против лживых предсказаний халдейских астрологов (42—44) и т. д. Далее Цицерон подвергал основательной критике все виды предсказаний в состоянии экстаза (как, например, изречения оракулов), а также видения во сне, будто бы ниспосланные богами.

Открыто смеясь над гадателями, оракулами, мифами, а часто и самими богами (правда, делая это в довольно осторожной форме, чтобы не задеть религиозных верований толпы), Цицерон начал с полного опровержения существования предвидения как науки. Определение «предвидения» как способности предсказывать будущее («О предвидении» I, 1, § 1; I, 6, § 10; II, 11 § 26; II, 63, § 130) Цицерон опровергает, доказывая всю несостоятельность этого утверждения, так как предмет исследования предвидения не может быть познан посредством наших чувств. Так, врач исследует больного, музыкант учит играть на музыкальном инструменте, математик объясняет геометрию, политические и государственные деятели занимаются вопросами государственного устройства. Предвидение же, говорит Цицерон, основано не на какой-либо науке, а на случайных явлениях, на предугадывании капризов судьбы. Даже люди, знающие и имеющие основания делать те или иные догадки (врач о ходе болезни, кормчий о приближении бури, полководец об исходе битвы), и те могут ошибаться. Как же может быть достоверным гадание, основанное на таких шатких явлениях, как полет птиц или наблюдения над внутренностями жертвенных животных. Если астрономы на основании науки делают выводы о движении планет, то на основании чего гадатели могут предсказать о получении наследства или о находке сокрови-

ща? С другой стороны, если все предначертано роком, то от предвидения будущего нет никакой пользы, так как сами боги не смогут ничего смягчить или изменить; если человеку суждено погибнуть, то он не может избежать своей гибели. Таким образом, предвидение будущего не только не полезно для людей, но даже вредно, так как не помогая человеку, оно может лишь омрачить его жизнь. Если в различных явлениях существует определенная закономерность, то в них нет ничего случайного и, следовательно, нет места ни судьбе, ни случаю. А если все совершается лишь благодаря року или случаю, то не следует полагаться на предвидения.

Для чего, рассуждает далее Цицерон, посылать людям разные предзнаменования, когда их могут истолковать и понять лишь немногие посвященные, и вообще, к чему пугать людей предсказанием бед, которых нельзя отворотить. Ведь хорошие друзья скрывают печальную правду от близкого человека, и врачи не скажут больному, что его болезнь смертельна.

Доказательства Квинта, основанные на том, что предвидение существует, так как решительно везде существует вера в предсказания, Цицерон опровергает указанием на то, что везде есть очень много легковверных людей. Да и у самих авгуров, поясняет он, нет единого объяснения одних и тех же явлений: если для одних удар грома слева предвещает успех в делах, то у других эту же удачу предвещает гром справа. Цицерон, смеясь, говорит, что как и авгуры, так и сами боги часто не согласны друг с другом. Приносимая жертва бывает угодна одним богам, а другим нет, так же как иногда первая жертва бывает неудобной, а вторая милостиво принимается богами. Конечно, следует уважать религиозные установления, но, замечает Цицерон, утверждения стоиков противоречат всем законам физики, и разделять их мнения во многих случаях представляется совершенно невозможным. Почему, например, следует верить, что внутренности — сердце, печень или легкие — какого-нибудь толстого быка связаны с будущностью государства и указывают на поведение его врагов? Цицерон откровенно смеется над легковерием приносящих жертвы, говоря, что ему стыдно за рассуждения стоиков, полагающих, что боги руководят выбором жертвенных животных, или думающих, что в момент жертвоприношения во внутренностях этих животных происходит изменение, указывающее на волю богов. Ведь ссылка Квинта на то, что при гадании Юлием Цезарем было обнаружено, что у быка, принесенного в жертву, совсем не было сердца, противоречит здравому смыслу: бык без сердца не может жить, а считать, что сердце исчезло в определенный момент жертвоприношения, по меньшей мере, смешно. Ни одна старуха,— добавляет Цицерон,— не может поверить этому.

Считая гадание по внутренностям животных весьма сомнительным занятием, Цицерон вообще ставил под подозрение знания гаруспиков, в отношении которых еще Катон удивлялся, почему гаруспики, обманывающие народ, не смеялись при встрече, глядя друг на друга. Разве среди их предсказаний есть хотя бы одно, которое нельзя было бы объяснить чистой случайностью, говорил с возмущением Цицерон, особенно негодуя при воспоминании о многочисленных неверных предсказаниях, сделанных прорицателями во время гражданской войны как Помпею, так и самому Цицерону («О предвидении», II, 24, § 53).

Говоря о различных необыкновенных явлениях, о которых рассказывал Квинт, считая их чудесами, Цицерон указывал, что чудес в природе не бывает, и, следовательно, все, что происходит, является возможным. А вот, например, появление из земли божества Тагета, внука Юпитера, с лицом ребенка и с разумом старика — вот это удивительно, и Цицерон говорит: «Этот Тагет собрал вокруг себя большую толпу и обратился к ней с речью, все его слова были записаны и послужили основой искусства прорицания у этрусков, стали источником их науки. Неужели,— добавляет с насмешкой Цицерон,— можно поверить тому, что плуг вырыл из земли бога или человека?... Разве здесь есть необходимость прибегать к объяснениям философов Карнеада или Эпикура? Если это бог, то зачем же он находился под землей, вопреки законам природы, и ждал, когда его вытащит плуг? Неужели божество не может открывать людям разные высокие истины из более подходящего места? А если это был человек, то как он мог жить под землею?» («О предвидении», II, 23, § 51).

Что касается таких предзнаменований, как сверкание молнии, то образованным людям просто стыдно приписывать сверхъестественное значение явлениям природы. Вряд ли, иронизирует Цицерон, Квинт верит, что циклопы на Этне куют Юпитеру молнии. Разве не удивительно, что, имея лишь одну молнию, Юпитер постоянно ее бросает, чтобы предупреждать людей не делать того, что противно воле богов. Ведь, если стоики дают научное объяснение происхождению грома и молнии, существовавших с самых давних времен, то почему же теперь они считают, что эти явления природы могут нам предсказать будущее? (Ср. «Лукреций», VI, 387—398). Если молнии посылает Юпитер, то зачем же он бросает их часто без всякого смысла в совершенно неподходящие места, как море, пустыни, горы и вообще туда, где их никто не видит и не может придать им никакого религиозного толкования? Наблюдения над небом могут указать, с какой стороны появляется молния и куда она упадет, но они не дают основания говорить, что молния выражает волю божества («О предвидении», II, 19, § 45).

Вообще, если говорить о предзнаменованиях, то зачем богам посылать их людям, когда почти никто из людей не в состоянии их понять. Если боги хотят открыть человеку будущее, они должны делать это более понятным способом, а не высказываться путем неясных знаков.

Что же касается всевозможных догадок, которые допускают гадалы, наблюдая различные явления в природе, то эта область гадания дает пищу для самого широкого произвола прорицателей, и здесь можно очень легко ошибиться. Вот, например, Квинт говорил о фиванцах, определивших, что их ждет победа над спартанцами, так как они слышали у себя пение петухов, а петухи, по мнению толкователей, обычно поют, когда они довольны, и молчат, когда их побили. Неужели, насмехаясь Цицерон, Юпитер не нашел других более достойных вестников для столь великого государства, и разве петухи не поют постоянно? Действительно было бы большим чудом, если бы запели не петухи, а рыбы; что же касается пения петухов, то здесь имеется много других естественных причин («О предвидении», II, 26, § 56).

Всевозможные рассказы о том, что статуи покрываются потом, что реки без всяких причин обгаются кровью,— все это выдумки, так как подобного рода явления могут происходить лишь с телом живых существ. Неужели какой-либо философ, например Фалес или Анаксагор, могли верить этому? Здесь играют роль причины естественного порядка: вода окрашивается в цвет, похожий на кровь, а стены или статуи покрываются влагой от сырости. Люди страшно легковерны и гаруспики пользуются этим, и даже таким фактам, что крысы погрызли щиты в Ланувии перед Марсийской войной (а крысы только и делают, что грызут что-либо), истолкователи придают важное значение. Если так рассуждать, продолжает Цицерон, то следует опасаться за целостность римской республики, так как крысы недавно сгрызли у него «Республику» Платона, а если они погрызут книгу Эпикура «Об удовольствии», то это будет означать, по-видимому, дороговизну съестных припасов («О предвидении», II, 27, § 59).

Происхождение грозных явлений природы — землетрясений, падающих звезд или каменного дождя — имеет естественные причины, и потому их нельзя рассматривать, как чудо. А если считать чудом все, что редко встречается в природе, то самое большое чудо — это умный человек, во всяком случае — это большее чудо, чем жеребенок, родившийся от мула.

Приводимые Квинтом в первой книге «О предвидении» объяснения различных случаев, связанных с событиями из жизни исторических лиц, Цицерон остроумно опровергал, придавая своим объяснениям вполне естественный характер. Так, Квинт

рассказывал, что змея, выползшая из алтаря во время жертвоприношения, возвестила Сулле о предстоящей победе. Эта змея, говорит Цицерон, находилась там давно и выползла совершенно случайно. А то, что Сулла в этот день одержал победу, как предсказали гаруспики, это произошло не из-за их предсказания, а из-за таланта полководца.

Далее Цицерон прямо заявлял, что гадания по полету птиц или по поведению священных кур — это все воображаемые предзнаменования. Обряд ауспий сохранился от давних времен, и в свое время авгуры производили непосредственные наблюдения за поведением птиц, а сейчас этот обряд имеет чисто условное значение. Если прежде священная птица находилась на свободе и ее считали вестницей Юпитера, то теперь таковой считают жертвенную птицу, находящуюся в клетке. Как же можно верить в гадания по корму, когда любая птица, если ее долго не кормить, набрасывается на пищу, с жадностью ест ее и роняет корм из клюва.

Опровергая доказательства Квинта, построенные на наблюдениях астрологов, Цицерон говорит, что у планет есть свои законы движения и в разные времена года и суток они занимают определенное положение, но уверять, что от положения планеты зависит характер и судьба родившегося, это не просто заблуждение, а безумие. Ведь судьба близнецов бывает различна, тогда как она должна быть одинаковой по законам астрологии. В действительности же огромное влияние на людей оказывает климат и географическая среда, а также унаследованные от отцов свойства и привычки. Врожденные недостатки во многих случаях можно исправить, а как же их исправлять, если они зависят от влияния звезд. Так, например, Демосфен исправил свое произношение путем усиленных занятий и стал знаменитым оратором. Все предсказания по звездам — сплошной обман: ведь было же предсказано Цезарю, Крассу и Помпею, что они все умрут у себя дома, покрытые славой, и ни одно из этих предсказаний не оправдалось.

Цицерон отзывается также весьма скептически о метании и вытаскивании жребиев (*sortes*), считая, что здесь уже все является делом чистого случая, как в игре в кости или тоссеры (*quod talos jacere, quod tesseris*), и потому, конечно, дается полная возможность обмана доверчивых людей.

Даже в отношении самых древних и уважаемых прорицаний, найденных в разломанном камне и находящихся в храме Счастья в Пренесте, Цицерон насмешливо спрашивает, кто же мог сделать эти прорицания, выгравировать их на доске и положить в тайник. На объяснения стоиков, что бог может сделать все, Цицерон выражает желание, чтобы [бог] создал мудрых стоиков, которые без тревоги и страха не верили бы во всякие

суеверия (II, 41, § 80). Цицерон считает, что ни один образованный человек не верит теперь в прорицания и что лишь красота и древность храма Счастья в Пренесте спасли эти прорицания от полного забвения. Подсмеиваясь над этим культом пренестинского святилища, Цицерон не упустил возможности блеснуть своим остроумием и игрой слов: «Карнеад считает, как говорит Цицерон, что он никогда не видел Счастья более счастливого, чем в Пренесте» (*fortunam fortunatiorem — «О предвидении», II, 41, § 87*).

Цицерон не стеснялся критиковать и предсказания бога Аполлона, говоря, что многие его предсказания были темны и непонятны, как, например, предсказание, сделанное Крезу, что тот разрушит великое царство. Крез, думая, что в результате похода он разрушит персидское царство, погубил свое собственное. Также трудно допустить и в отношении Пирра, что Аполлон дал ему такой двусмысленный ответ, из которого было не ясно, кто же победит, то ли он, то ли римляне. Прежде всего Аполлон никогда не говорил по-латыни, а затем к тому времени он уже не говорил и стихами. Все эти предсказания носят весьма подозрительный характер, недаром еще Демосфен по поводу изречений знаменитой Пифии язвительно замечает, что она, подкупленная Филиппом, прорицает в угоду Филиппу (*φιλιππῶσιν — «О предвидении», II, 57, § 118*).

Почему же теперь, спрашивал далее с насмешкой Цицерон, молчат знаменитые оракулы Дельфов и другие предсказатели? Говорят, что иссякли источники вдохновения, т. е. из земли перестали выделяться испарения. Следовательно, предсказания зависели от условий местности, а не от вдохновения этих пророков, или, может быть, люди стали менее легковерными.

Таким образом, мы видим, что Цицерон подверг жестокой критике деятельность гаруспиков, гадающих по внутренностям жертвенных животных и по полету птиц, авгуров, предсказывающих по клюву священных кур и по ударам грома, астрологов, предсказателей и толкователей различных предзнаменований. С наименьшим ожесточением Цицерон обрушился и на толкование снов; большинство снов, говорил он, оказываются ложными, и, если верные сны идут от богов, то от кого же исходят эти? Если также от богов, то зачем боги их посылают? Не проще ли отнести наши сны к явлениям, вызываемым самой природой человека, когда он во сне как бы продолжает действовать под влиянием своих дневных мыслей и поступков. Почему боги не могут прямо высказать человеку свою волю и предупредить его вместо того, чтобы посылаять сны, которые он может понять лишь с помощью специальных толкователей, а без них он оказывается в таком же положении, как римский сенат, если бы в нем говорили без переводчиков послы карфагенян или испан-

цев? Боги должны ясно выражать то, что они хотят сказать людям: даже в произведениях поэтов и философов темные и двусмысленные места не делают лучше их произведения, а непонятные сны, посылаемые богами, тем более не соответствуют величию божества («О предвидении», II, 64, § 131).

Для своих работ Цицерон пользовался многочисленными источниками, о которых он сам откровенно упоминал в различных местах своих книг. Нет сомнения, что, хотя эти работы были написаны им всего лишь в течение двух лет, они представляли собой как бы итог, завершающий занятия Цицерона философией, начатые им еще в молодые годы и продолжавшиеся в течение многих лет его жизни. Как уже говорилось ранее, Цицерон не примыкал полностью ни к одной философской школе, но он многое принимал из учения стоиков и новоакадемиков.

О своей близости к стоикам Цицерон говорил в конце третьей книги своей работы «О природе богов», но, соглашаясь с некоторыми основными положениями стоиков, Цицерон всю остроту своей критики направлял на то, чтобы доказать нелепость суеверий, поддерживаемых учением стоиков. Критическое отношение к суевериям сблизало Цицерона с новоакадемиками, и он стремился, опираясь на выводы Карнеада, разрушить многочисленные суеверия и предрассудки. Опровергая доказательство Квинта и смеясь над легковерием толпы, над бессмысленными предсказаниями и выдуманными богами, Цицерон ставил своей целью и считал задачей философа рассеять суеверия и оказать людям огромную услугу. Все эти предрассудки лишь омрачают жизнь человека: «Ведь они мучат и преследуют, и куда бы ты ни повернулся — то ты видишь пророка, то пророчество; то видишь птицу, то приносишь жертву; то видишь халдея, то гарусника, то молнию, то удар грома» («О предвидении» II, 72, § 149). Даже сон (somnus), который должен приносить человеку отдых, приносит часто лишь одни огорчения. Цицерон беспощадно критиковал в этой части учение стоиков, боясь, как бы вера в суеверия, свойственная широким слоям римского общества, не оказала бы пагубного влияния на развитие философских и естественных наук и не вернула бы общество в дебри тупых и невежественных предрассудков. Опасность, грозящая развитию науки и культуры, пугала Цицерона, как и многих передовых людей его эпохи, и заставляла его с ожесточением обороняться на своих противников.

Но, относясь критически к суевериям и гаданиям и высмеивая нелепость различных обрядов, Цицерон в то же время занимал иную позицию по отношению к официальной религии. Хотя в работе «О предвидении» он иногда и позволял себе иронизировать по поводу, тех или иных богов, но свои замечания

он обычно облекал в шутовскую форму, касаясь этой важной темы как бы вскользь и мимоходом.

Занимая высокое положение в государстве, Цицерон, подобно многим своим единомышленникам, прекрасно понимал роль и значение религии в римском государстве. Религия в руках высших сословий была важным политическим оружием в борьбе против народных масс, отстаивающих свои права, а также против новых демократических элементов, выдвигающихся на политическую арену. Власть в римской республике в годы жизни Цицерона переходила от одних политических группировок к другим, но отношение к религии со стороны официальных правителей оставалось неизменным. «Сенат и ауспиции — это два столпа республики», — говорил Цицерон («О республике», II, 10, § 17), и вся его деятельность была направлена на поддержку и укрепление этих столпов. Поэтому Цицерон, выступая и как консул и как член коллегии авгуров, защищал, с целью сохранения существующего строя, и ауспиции и веру в существование богов, настаивая на строгом выполнении всех религиозных обрядов, полученных от предков. В ранних философских работах Цицерона так же, как и в его речах, мы найдем подобного рода высказывания и от его собственного имени и от имени верховного жреца Котты. В связи с этим делается понятным, почему Цицерон в своих неоднократных выступлениях на форуме перед народом постоянно обращался к богам, призывая их благословения или проклятия, и не забывал при этом особо подчеркнуть исконное благочестие римского народа и важность религии для государства («О законах», I, 11, § 32; «О предвидении», II, 33, § 71; «Речи против Катилины», III, 8). Цицерон не забывал также упоминать и о своей якобы глубокой религиозности и не стеснялся, например, делать заявления такого рода, что для него религия является основой всего и что «хотя он очень любит литературу, но никогда вполне ей не отдавался, так как она отдаляет и отвращает от религии» («Об ответах гарусников», 9, § 18). Подобные взгляды, явно не совпадающие с его более поздними высказываниями, Цицерон излагал также и в труде «О законах», являющемся продолжением работы «О государстве». Здесь Цицерон говорил о том, что он не только признает богов, но и предвидение будущего, а также гадания по полету птиц. «Я полагаю, что существует дар предвидения, который греки называли «мантикой» (μαντική), и та часть его, которая связана с птицами и прочими знаками нашей науки» («О законах», II, 13, § 32).

В этом отношении весьма характерным для Цицерона было также и его поведение в деле Катилины; здесь интересно сопоставить высказывания Цицерона об участии богов в раскрытии этого заговора с его же собственными рассуждениями

по этому поводу во второй книге «О предвидении». Выступая защитником республики против заговорщика Катилины и его единомышленников, Цицерон рисовал яркую картину гнева богов я перечислял множество мрачных предзнаменований, ниспосланных ими для предупреждения людей. Он упоминал о падающих звездах как предвестниках несчастья, о землетрясении, об ударах грома и т. д., т. е. пугал всем тем, над чем он сам откровенно смеялся позже в своих опровержениях Квинта. Мало того, обличая Катилину, Цицерон устанавливал непосредственную связь между раскрытием заговора и установкой новой статуи Юпитера. Эти выводы он делал перед смущенной толпой на основании того факта, что эта статуя была поставлена как раз при самом раскрытии заговора Катилины. В свое время после повреждения молнией многих памятников на Капитолии было постановлено, на основании предсказаний авгуров, воздвигнуть новую статую Юпитера для предотвращения всякой крамолы и козней против римского государства. Консулы того года — Котта и Торкват — заказали такую статую, но работы двигались медленно, и статуя была закончена и поставлена лишь к моменту выступления Цицерона против Катилины. Тогда Цицерон, со свойственным ему красноречием, доказывал, что в этом деле роль бессмертных богов представляется ему совершенно ясной, а в особенности видна рука всемогущего Юпитера, чья статуя была так своевременно поставлена.

Сравнивая эти высказывания Цицерона с его же словами по этому поводу в книге «О предвидении» (II, 20), можно видеть, что в действительности сам Цицерон весьма скептически относился к подобного рода предзнаменованиям и что он с откровенной иронией спрашивал Квинта, обращаясь к его здравому смыслу, неужели тот на самом деле считает ниспосланным свыше указанием то, что установка статуи задержалась как раз до самого разоблачения заговорщиков? Цицерон сам тут же высказывает предположение, что эта задержка произошла из-за случайности, и что тот, кто пообещал сделать эту статую, запаздывал с выполнением работы или из-за отсутствия денег, или по лености, а вовсе не по наущению богов. Хорошо понимая, однако, что подобные рассуждения весьма далеки от ранее высказанных им же самим благочестивых мыслей, Цицерон не утверждал своего мнения в категорической форме, а уклончиво заявил, что он хотел бы узнать по этому поводу мнение Квинта.

Следовательно, в зависимости от того, выступал ли Цицерон как политический деятель или как частное лицо, интересующееся философскими вопросами, он высказывал по одному и тому же поводу различные мнения. Цицерон считал, что человек, занимающий определенное положение в государстве, не должен

высказывать никаких вольнодумных мыслей, чтобы не смущать умы простых людей, так как толпе следует внушать идеи о существовании богов, заботящихся о благе народа, и укреплять веру в их могущество. Следует сохранять религию, идущую еще от предков, представляемых Цицероном как образец мудрости и добродетели, и строго выполнять ауспии и другие обряды, столь важные для простого народа. Вместе с тем Цицерон и Котта (от имени которого он часто выступал) высказывали сомнение в существовании богов («О природе богов», I, 22, § 57) и, не стесняясь, признавали, что обращение к религии во многих случаях является весьма полезным делом для правящих классов. Так, например, Цицерон, будучи сам авгуром, откровенно говорил, что авгуры ничего не знают, что произносимые ими формулы давно утратили свое значение и что они истолковывают проводимые ими наблюдения совершенно произвольно и в духе угодной властям. В тех случаях, когда во время комиций случалась гроза и слышались раскаты грома, и народу говорили, что это сам Юпитер запрещает проводить комиции, то на самом деле это все делалось из политических соображений, и власти просто хотели сорвать народное собрание.

Таким образом, мы видим, что Цицерон, прекрасно понимая обман, к которому прибегали правящие круги в применении религиозных обрядов, совершенно сознательно ратовал за повиновение религии, за укрепление авторитета коллегии авгуров и настаивал, чтобы к официальным лицам, проявившим пренебрежение к религии, применялось самое суровое наказание как подрывающим авторитет государственных властей.

Для характеристики взглядов Цицерона несомненный интерес представляет его отношение к учению эпикурейской школы. В своем желании разрушить суеверия Цицерон, казалось, должен был бы видеть в эпикурейцах своих единомышленников. В самом деле высказывания Цицерона в конце второй книги «О предвидении» невольно напоминают нам мысли Лукреция о пагубности суеверий. Цицерон считал, что гадания с помощью снов так же, как и все другие способы проникновения в тайны будущего, должны быть категорически отвергнуты: «...ибо, если говорить правду, суеверие, распространенное среди народов, придавило почти все души и завладело человеческой глупостью. Об этом уже говорилось в книгах, названных «О природе богов», и мы на этом особенно настаиваем в настоящем обсуждении» («О предвидении», II, 72, § 148). Но, разделяя по существу в этом вопросе точку зрения эпикурейцев, которые рассматривали суеверия, как вреднейший обман, Цицерон везде и всюду старался всячески показать, что у него нет никаких общих точек соприкосновения с представителями этой школы. Так, в первой книге «О природе богов» Цицерон подверг

жестоким критиком учение Эпикура с позиций стоической философии. В книге «О предвидении» на протяжении всей работы Цицерон не упускал случая опровергать мнения эпикурейцев, применяя в отношении Эпикура весьма не лестные эпитеты, называя его тупым (*hebes*) и грубым (*rudis*).

Выступая против отдельных представителей этой школы, Цицерон позволял себе резкие выпады, считая всех учеников Эпикура грубыми материалистами, признающими лишь низменные чувственные удовольствия. Так, например, эпикурейца Пизона он называл без всякого стеснения «философом, вышедшим из свиного хлева» («Против Пизона», 16) и т. п. Особенно ожесточенные нападки Цицерона вызвали представления эпикурейцев о богах, которым отводилась по существу весьма ничтожная роль. Эти боги, существование которых хотя и признавалось, меньше всего интересовались человеческими делами, находясь где-то в междумировом пространстве, словно «между двумя священными лесами» (по ироническому замечанию Цицерона). Подобного рода принижение значения и роли богов в жизни римского государства подрывало в глазах Цицерона не только веру в богов, как таковую, но и устои самой республики.

Таким образом, материалистическое учение Эпикура, разоблачающее вред религиозных предрассудков, ярко и талантливо пропагандируемое Лукрецием в его замечательной поэме, находило непримиримого противника в лице Цицерона. Основная идея, проводимая Цицероном («...разрушить суеверие — это не значит разрушить религию»), ясно показывает, какую позицию занимал Цицерон в этом вопросе. Будучи убежденным сторонником старой римской республики с ее консервативными установлениями и традиционными божествами, Цицерон пытался примирить непримиримое: религию, строго охраняющую незыблемый государственный порядок, и философскую науку, движущую вперед пытлившую человеческую мысль, смело отвергающую, наряду с суевериями, и самих богов.

Хотя в частной жизни Цицерон не отличался большой религиозностью и даже неоднократно высказывал свои пожелания иметь более веские доказательства бытия богов, но тем не менее религиозные традиции, идущие от предков, заставляли его выполнять всевозможные обряды и церемонии. Так, еще в дни юности он, по свидетельству Плутарха, совещался с дельфийским оракулом и даже приносил ему жертвы. Позже в одном из писем к Теренции мы находим просьбу Цицерона, чтобы его набожная жена возблагодарила божество Эскулапа или Аполлона, явившегося к Цицерону ночью для облегчения его болезни (Письма к друзьям XIV, 7). И особенно ярким примером является его поведение после смерти любимой дочери: настой-

чивое желание Цицерона обоготворить умершую, о чем свидетельствует его оживленная переписка с Аттиком по этому вопросу, противоречит его же собственным высказываниям по такому же поводу — в связи с обожествлением Юлия Цезаря после смерти последнего. Тогда в своей работе «О природе богов» Цицерон говорил совсем иное, считая, «что нет ничего безрассуднее, как помешать умерших среди богов и обоготворять их, раз им не подобает другого поклонения, кроме слез» («О природе богов» I, 15, § 38).

Впрочем, в последнем случае, несомненно, как и во всей работе Цицерона «О предвидении», нашли свое непосредственное отражение политические симпатии и антипатии Цицерона. Рассуждения и выводы о сущности божества и о даре предвидения будущего, посылаемом людям свыше, Цицерон подкреплял примерами из современной жизни и, характеризуя поступки тех или иных лиц, тем самым наглядно выявил свое отношение к своим политическим единомышленникам и противникам. Так, здесь нашли свое отражение и ярко выраженная неприязнь к Цезарю, и злорадство по поводу его смерти, и приверженность Цицерона к Помпею, являвшемуся в глазах Цицерона подлинным патриотом, борющимся за восстановление республиканских свобод. Цицерон, упоминая в нескольких местах о Цезаре, везде и всюду подчеркивал беспринципность последнего, указывал на дерзость и безрассудство Цезаря, наказанные по заслугам, и возмущаясь его стремлением незаконно захватить власть в свои руки, расценивал это как измену делу республики. Так, опровергая доказательства, приводимые Квинтом о загадочном исчезновении сердца у быка, которого Цезарь приносил в жертву, Цицерон, удивляясь легковерию брата Квинта, с насмешкой, играя словами, писал о том, что, вероятно, бык потерял свое сердце (*cor*) потому, что увидел потерявшего разум (*excoris*) Цезаря в пурпурной одежде («О предвидении» II, 16, § 37); или же, говоря о том, что люди не знают своего будущего, Цицерон опять в качестве примера ссылался на судьбу Цезаря и, не скрывая враждебного к нему отношения, предавался риторическим рассуждениям о том, что вряд ли Цезарь был бы счастлив, если бы он знал, что он падет от руки знатнейших лиц в присутствии своих центурионов, среди сенаторов, большую часть которых он сам же и набрал. В случае с царем Дейотаром, приведенном Квинтом в доказательство исполнения благоприятных ауспий, Цицерон доказывал, что, наоборот, Дейотар был обманут этими ауспичиями, доверившись Цезарю, который ограбил его и обманул («О предвидении» II, 37, § 79).

Совершенно иное отношение проявлял Цицерон к Помпею: упоминая в другом месте о том же Дейотаре, перешедшем на сторону Помпея и потерпевшем крах вместе с последним, Цицерон

с глубокой симпатией рассказывал о судьбе Помпея, сочувствуя его политическим взглядам: «Я думаю, как и он, но это несколько не относится к ауспциям; ведь не ворона могла ему возвестить, что он поступает правильно в то время, когда он готовился защищать свободу римского народа; он сам это чувствовал, как бы ощущал» («О предвидении» II, 37, § 78 — перевод Е. Берковой).

Цицерон вообще не упускал случая еще раз напомнить своим соотечественникам о своем благородстве, о своих заслугах перед государством и показать себя в наиболее благоприятном свете: так, он то напоминал о своем триумфальном возвращении в Рим после изгнания, то перечислял свои многочисленные труды, то высказывался (правда, от имени Квинта) с величайшей похвалой о своем блестящем и убедительном красноречии.

Философские работы Цицерона, касающиеся вопросов религии и суеверий, пользовались большой известностью не только у его современников — язычников, но и среди христиан в более поздние времена. Двойственная позиция, занимаемая Цицероном по отношению к религии, его противоречивые мнения, высказываемые по этому поводу, вызывали также противоречивую оценку его трудов. Одни христианские авторы, как Арнобий, полагали, что поскольку Цицерон, опровергая суеверия, не опровергал существования бога, то это в известной мере приближало его к христианству. Поэтому такие философские труды Цицерона, как «О природе богов» или «О предвидении» широко пропагандировались среди определенной части образованных кругов, так как христиане стремились использовать в своих целях работы такого крупного языческого писателя. Другие же деятели христианства, как блаженный Августин, высказывали мнение, что Цицерон лишь из политических соображений делал вид, что верит в высшее божество, а что на самом деле он является закоренелым язычником, так как идея Цицерона, что боги не знают будущего, сама по себе не совместима с верой в существование богов. В связи с этим книги Цицерона «О природе богов» и «О предвидении» попадали под запрет и предавались сожжению. Что же касается ревностного защитника язычества императора Диоклетиана, стремившегося возродить староримскую религию, то он видел в работах Цицерона умаление язычества и пропаганду христианства, вследствие чего по его приказу книги Цицерона наряду с Евангелием, Библией и другими были сожжены в 302 г. н. э.

*Т. И. Кузнецова*

## **РЕЧИ ЦИЦЕРОНА ПРОТИВ ВЕРРЕСА**

Первый успех Цицерона на ораторском поприще, послуживший ему как бы фундаментом для славы выдающегося оратора, а также упрочивший его общественное положение, связан с выступлением в процессе Секста Росция Америкского в 80 г. до н. э. Именно тогда Цицерон впервые показал себя не только искусным оратором, но и политическим деятелем, выступив с разоблачениями нобилитета как мужественный обвинитель покровительствуемого Суллой Хрисогона. Таким образом, уже в этот ранний период своей деятельности Цицерон, хотя и косвенным путем, выступил против самого диктатора, заклеив в лице одного из его любимцев весь реакционный режим сулланской диктатуры. В то время, время жесточайших проскрипций было большой смелостью выступить против непререкаемой, всесильной власти Суллы, диктатура которого была диктатурой рабовладельческой знати. Аристократическая партия, сосредоточив в своих руках власть, злоупотребляла ею и всячески ущемляла интересы и политическое влияние всадничества. В речи за Росция впервые выразилась оппозиционность Цицерона по отношению к аристократическому режиму. В этот период он отстаивал интересы всадников и выступал от их имени. По свидетельству Плутарха (Цицерон, 3), эта речь показала политическое значение Цицерона, обеспечив ему высокое мнение сограждан, доверявших ему отныне труднейшие дела. В этот первый период своей деятельности Цицерон был всецело на стороне демократической оппозиции. Протест против порядков сулланского режима, беспощадное разоблачение его, доставившее молодому оратору прочный успех у демократической партии и народа в последующее время, сохранялись до времени консульства Цицерона. Реакция против аристократического режима Суллы, начавшаяся после смерти диктатора, создавала особенно благоприятные условия для выдвижения Цицерона на полити-

ческой арене, так как сам он принадлежал к сословию всадников. Однако сенатская аристократия, все еще избавленная от контроля всадничества, в лице наместников-сенаторов не переставала усиливать эксплуатацию провинций. Разоряемые, подвергающиеся всяким насилиям провинциалы подавали жалобы в судебную комиссию *de repetundis* (о взыскании с наместников награбленных ими в провинции денег), но в судах сидели те же сенаторы, которые, покровительствуя подсудимым и будучи ими подкуплены, не могли быть справедливыми к провинциалам. Против таких судов Цицерон и выступил в своих речах против Верреса, относящихся к 70 г. до н. э.

Несколькими годами ранее, в 76 г., он выставил свою кандидатуру на первую из <sup>35</sup> государственных должностей, открывающую дорогу в сенат, на должность квестора, и был избран в трибунных комициях одним из провинциальных квесторов. По жребию ему достался в управление город Лилибей (теперь — Марсала) в западной части провинции Сицилии, где он и провел 75-й год, добросовестно выполняя свои финансовые обязанности.

После окончания срока квестуры в Сицилии Цицерон, вернувшись в Рим, занялся своей прежней деятельностью судебного оратора.

В 70 г. он был избран эдилом на 69-й год. К этому времени, т. е. к 70 г., и относятся речи Цицерона против наместника Сицилии, пропретора Гая Верреса, занимающие центральное место в ранней деятельности Цицерона, так как именно они определяют общественно-политическое и, конечно, профессиональное лицо оратора в этот период.

Дело Верреса возникло следующим образом. Сицилийские общины, пытаясь найти в Риме управу на своего бывшего наместника Верреса, управлявшего Сицилией в течение 73—71 гг., обратились к Цицерону с просьбой выступить от их имени обвинителем Верреса и защитником их интересов. Жители провинции заявляли о неслыханно жестоких притеснениях и вымогательствах Верреса во время его наместничества («Дивинация против Цецилия», 1, § 3). Цицерон, будучи до Верреса квестором в Сицилии, приобрел уважение местного населения своей гуманной политикой и неподкупностью; желая оправдать доверие сицилийцев, он согласился взять на себя роль обвинителя Верреса, объявив об этом председателю уголовной комиссии по вымогательствам.

Поскольку постоянных государственных обвинителей в Риме не было, таковым мог быть, за немногими исключениями,

<sup>35</sup> Должность консула можно было получить только пройдя определенные ступени общественной лестницы: квестуру, эдилитет, претуру.

каждый желающий, который и вел сам предварительное следствие, получив для этого от суда определенное время. По одному и тому же делу мог явиться, таким образом, не один, а несколько обвинителей, и тогда суду предстояло сначала выбрать из них одного, а уже после этого принять жалобу.

Выступление в процессе и победа в нем таили в себе определенные выгоды для оратора, будь то вознаграждение за выигранное дело или просто возможность лично прославиться и тем самым облегчить себе продвижение на выборные государственные должности.

Итак, прежде чем выступить обвинителем, Цицерон должен был отстоять свое право на обвинение, выиграть его у другого кандидата. Это соперничество было прямым следствием отсутствия государственной прокуратуры в Риме, где ведение дела предоставлялось частной инициативе. Соперником Цицерона выступил сицилиец Квинт Цецилий Нигер, бывший квестором в Лилибее в 73 г. при Верресе. Его предпочитал и сам Веррес, боявшийся более сильного обвинителя в лице Цицерона.

Судьям еще до начала процесса необходимо было решить, кому отдать предпочтение: Цицерону или Цецилию.

Выбор судьями обвинителя из двух или даже нескольких кандидатов назывался *actio de constituendo accusatore*, а также *divinatio* — дословно: «предсказывание», «гадание», так как судьи решали вопрос не на основании документов и свидетельских показаний, а, как бы предугадывая, на основании речей соперников, которые излагали свои преимущества (Авл Геллий, «Аттические ночи», II, 4). Поэтому речи, произносимые в этом случае заинтересованными сторонами, назывались *divinationes* — дивинациями.

Цицерон выступил в суде на форуме перед трибуналом, председателем которого был претор Маний Глабрион, с дивинацией против Цецилия. В этой своей речи он обстоятельно доказал свое право на обвинение Верреса, мотивируя причины, побудившие его взять на себя ведение процесса («Дивинация против Цецилия» 1—3).

По мнению Цицерона, судьи при избрании обвинителя должны обращать внимание, главным образом, на следующие два условия: кого всего более желает иметь представителем обвинения потерпевшая сторона, и кого всего менее — обвиняемый в нанесении ей обид (3, § 10).

Цицерон доказывает, что он избранник потерпевшей стороны, а Цецилия хочет иметь своим обвинителем подсудимый, т. е. Веррес, имевший на то свои соображения. И Цицерон предупреждает судей, что если процесс поручат вести ему, то Веррес не сумеет подкупить судей без большой опасности для них. «Я взялся вести здесь в суде защиту интересов сицилийцев

по их просьбе, но считаю себя вместе с тем добровольным защитником интересов и римского народа: поэтому я должен уничтожить не одного злого человека, чего хотя бы сицилийцы — нет, необходимо вырвать самый корень зла, чего давно и страстно желает народ римский» (7, § 26)<sup>36</sup>. Самое доказательство разделяется у Цицерона здесь на две части: *probatio* (доказательство) и *refutatio* (опровержение).

В первой из этих частей Цицерон блестяще отстоял свое право быть обвинителем Верреса и защищать сицилийцев, несмотря на то, что поверенный Верреса Гортенсий пытался подкупить нескольких судей с тем, чтобы они голосовали за Цецилия, а не за Цицерона (7, § 24). В то же время во второй части Цицерон доказал непригодность Цецилия как обвинителя, разоблачив все его претензии и заявив, что не может быть честным представителем обвинения со стороны союзников соучастник преступлений обвиненного (9, § 30—35). Кроме того, Цицерон доказал, что Цецилию не достает тех качеств, которыми обладает он — Цицерон, т. е. адвокатского опыта и дара слова, необходимых каждому оратору, а потому он не сможет быть победителем такого опасного противника, как Гортенсий (11—12). Наконец он разбил довод Цецилия о якобы нанесенной ему Верресом обиде, считая его выдумкой.

Речь Цицерона была успешной, и судьи большинством голосов решили его избрание на роль обвинителя Верреса.

Процесс Верреса доставил Цицерону счастливый случай для создания ряда замечательных произведений ораторского искусства, которые вошли в сокровищницу мировой литературы как памятники весьма ценные и интересные по содержанию и блестящие по художественному выполнению. Эти произведения являются своего рода политическими памфлетами того времени, знакомящими читателя с практикой провинциального управления в последний век республики.

Речь против Цецилия или дивинация служит как бы введением к этим речам, носящим общее название *Веррин* или речей против Верреса.

Получив право на обвинение после дивинации, Цицерон подал жалобу на Верреса, предъявив ему обвинение в вымогательствах, в ограблении сицилийцев на сумму 40 миллионов сестерций («Против Верреса», «Actio I, 17, § 56»).

Однако у Цицерона были большие препятствия для победы в процессе, так как, выступая обвинителем Верреса, он навлек на себя недовольство многих, покровительствовавших Верресу оптиматов (в том числе Метеллов, П. Сципиона, Сизен-

<sup>36</sup> Все цитаты приводятся в переводе Зелинского. См. полное собрание речей Цицерона. СПб., 1901.

ны и др.), а кроме того, защищать Верреса взялся известный оратор Гортенсий.

Сам Веррес рассчитывал подкупить суд и защиту. Цицерону предстояло трудное дело; ему необходимо было собрать документальный материал в Сицилии, подтверждающий преступления Верреса, изучить его во всех деталях и отыскать нужных людей, свидетельствующих о вине подсудимого. Для этого Цицерон получил полагающиеся в таких случаях 110 дней. Сторонники Верреса старались чинить ему всевозможные препятствия, употребляя на это все имеющиеся средства. Надо полагать, что и Цецилий Нигер, выступавший соперником Цицерона по обвинению Верреса, был подослан и подкуплен ими. Потерпев здесь неудачу, они создали новый процесс *de repetundis* по делу наместника Ахайи, обвинитель которого якобы потребовал себе на изучение дела 108 дней, т. е. на два дня меньше, чем Цицерон («Против Верреса» Actio I, 2, § 6). Тем самым приверженцы Верреса рассчитывали выиграть время, т. е. начать свой процесс раньше процесса Верреса, затянув последний до следующего — 69-го г., когда магистратура была бы в руках преданных Верресу людей, и разбирать процесс пришлось бы покровителю Верреса претору Цецилию Метеллу, так как именно он доставалось по жребию председательство в комиссии *repetundarum* («Против Верреса» Actio I, 9, § 26)<sup>37</sup>, а Гортенсий и Кв. Метелл должны были быть консулами.

Однако эта попытка задержать Цицерона в Сицилии потерпела поражение. Цицерон вернулся в положенное время, хотя ему и пришлось ждать в течение трех месяцев окончания ахайского процесса. Не увенчалась успехом и попытка противников Цицерона перетянуть на свою сторону судей и свидетелей («Против Верреса», Actio I, 6, § 17; 7, § 19), а также подкупить и самого Цицерона («Против Верреса», Actio I, 9, § 25).

Несмотря на то, что свидетелей, пожелавших выступить против Верреса от имени своей общины, задерживали в Сицилии силой и угрозами, Цицерон сумел собрать необходимый ему, как обвинителю, огромный материал (письменные свидетельства об убытках, понесенных сицилийцами), исколесив в 50 дней всю Сицилию («Против Верреса», Actio I, 2, § 6). Таким образом, 5-го августа 70 г. в первой сессии суда началось слушание дела Верреса. В первой своей речи Цицерон прежде всего разоблачил попытки противников затормозить разбор дела, чтобы оттянуть его до следующего года, и предупредил о мерах, которые он намерен предпринять против этого, т. е. сокращение первой сессии суда; затем он изложил перед судебной комиссией тщательно собранный им материал, в котором указы-

<sup>37</sup> В этом же 70 г. дело Верреса разбиралось в уголовной комиссии *repetundarum*, под председательством Мания Ацилия Глабриона.

валось точно время, место преступлений, имена пострадавших, сумма ограбления и т. д., и представил целый ряд веских доказательств своему обвинению (Actio I, 11, § 33). Зная, что противники его стремятся затянуть процесс, Цицерон решил отступить от установленного порядка ведения суда<sup>38</sup> с тем, чтобы сорвать их замыслы. В этой первой из речей против Верреса он не счел нужным иллюстрировать дело всеми необходимыми обстоятельствами, не дал связного, развернутого по пунктам, правильно построенного обвинения, а ограничился лишь краткой вступительной речью, в которой изложил сжато и энергично главные пункты обвинения Верреса. После этого он предложил выслушать обвинительные показания свидетелей — потерпевших сицилийцев и зачитать материалы следствия, документы, доказывающие вину Верреса в различных преступлениях. Цицерон<sup>39</sup> умышленно, боясь отсрочки второй сессии до нового года<sup>39</sup> нарушал известный порядок судопроизводства выслушивать свидетельские показания после выступления защиты. Поэтому и композиция этой речи отличается от композиции последующих.

В ней сразу после вступления (exordium) Цицерон в изложении (expositio) говорит о происках противников, мотивируя этим свое решение отступить от установленного порядка ведения суда (главы 2—14), и в заключении (peroratio— главы 15-27) указывает, что перейдет к более подробной и связной речи на второй сессии, когда он развернет обвинение по пунктам.

Уже с самого начала речи ясно ощущается оппозиция Цицерона сенатскому суду. Цицерон настойчиво подчеркивает, что этот суд не завоевал доверия народа, как неподкупный и справедливый. Он намекает на тайные подкупы некоторых членов судебных комиссий, на темные сделки их с имущими людьми. Несправедливость царит в судах с тех пор, как они поручены сенату и не контролируются римским народом (говорит Цицерон, намекая на ограничение трибунской власти Суллой), напротив, когда судьями были всадники, никто из<sup>40</sup> них не подвергался подозрению в подкупе (Actio I, 13, § 38).

Недаром Веррес считал, что у него есть сильная рука, на-

<sup>38</sup> Обычно процесс суда состоял из: 1) выступления обвинителя, 2) доказательств обеих сторон — обвинения и защиты, т. е. допрос свидетелей и зачитывание документов, 3) подача голосов судьями. Дело решалось большинством голосов.

<sup>39</sup> Суд, связанный с большим гражданским иском, требовал двух судебных сессий, во второй сессии повторялись речи обвинителя и защитников.

<sup>40</sup> Сулланская конституция отняла у всадников право верховного уголовно-политического суда, передав его сенату, в который было введено много сторонников Суллы.

деясь на которую он может грабить провинцию, имея в виду судей и защитников (Actio I, 14, § 40). Цицерон рассказывает о бурной радости народа, когда Помпей, будучи консулом, сказал что «...грабят и притесняют провинции, что судьи ведут себя дурно и позорно, и что он желает принять меры к прекращению этого зла» (Actio I, 15, § 45). И теперь все хотят убедиться, говорит он, останутся ли судьи верными чувству долга и голосу совести. Цицерон подчеркивает, как важно для всей республики и суда сенаторов сурово осудить Верреса. «Ныне же на очереди суд, где вы будете судить обвиняемого, а римский народ вас. На нем вы докажете, могут ли судьи-сенаторы вынести обвинительный приговор вреднейшему, но страшно богатому члену общества». Если же суд не окажется на высоте своего положения, предупреждает Цицерон, «...все будут убеждены, что все сословие следует заменить другим, более достойным ведать суды» (Actio I, 16, § 49).

В этой речи Цицерон дал краткий обзор всех преступлений Верреса, которые он разбирает в подробной и длинной обвинительной речи, подготовленной им ко второй сессии. Несмотря на краткость обвинения, все преступления Верреса раскрыты в нем с большой убедительностью и очевидностью. Главной и необходимой частью здесь является probatio (доказательство).

Бегло коснувшись преступлений Верреса в бытность его квестором, легатом в Азии и Памфилии, Цицерон сосредоточивает внимание слушателей на хищническом управлении Верресом в период его консульства Сицилией, «которую он, в продолжение трех лет, успел так разорить и ограбить, что ее нельзя уже привести в прежнее состояние...». «Когда он был претором, сицилийцы не ведали ни своих законов, ни приказаний сената, ни общечеловеческих прав; каждый имел только то, что ускользало от взоров этого алчного и сластолюбивого человека по его рассеянности, или оставалось нетронутым, благодаря его прещению. В продолжение трех лет все дела решались по его желанию; все, чем кто ни владел,— перешло ли оно к нему от отца или деда,— все он мог взять себе в силу своей судебной власти. Огромные деньги были взысканы с крестьян на основании небывалых, несправедливых распоряжений; наши верные союзники считались в числе врагов; римские граждане были пытаемы и убиваемы как рабы; важные преступники с помощью подкупа освобождались от суда; вполне честные, безукоризненной нравственности люди заочно, без допроса, были осуждаемы и лишены гражданских прав; гавани, представлявшие из себя неприступную крепость, и огромные, прекрасно защищенные города, сделались доступны нападению пиратов и разбойников; сицилийские матросы и солдаты, наши союзники и друзья, гибли с голоду; прекрасный, всем снабженный флот был, к ве-

ликому стыду римского народа, потерян и уничтожен. Он же как наместник украл все древние памятники, частью подаренные для украшения города богатыми царями, частью данные или возвращенные сицилийцам нашими победоносными полководцами. Так поступал он не с одними статуями или украшениями, составлявшими собственность городов,— нет, он ограбил все храмы, не исключая самых священных, и, в конце концов, не оставил сицилийцам ни одного бога, статуя которого, по его мнению, имела хотя какие-нибудь художественные достоинства и принадлежала старинному мастеру. Рассказывать о его любовных похождениях, о гнусных поступках, совершенных им под влиянием страсти, мне стыдно» (Actio I, 4, § 12—5, § 14).

Впечатление, которое произвел Цицерон своей речью, было настолько велико, страшные злоупотребления Верреса были показаны в ней с такой внушительностью, что обвиняемый, подавленный неопровержимыми доводами Цицерона и показаниями свидетелей,<sup>41</sup> предупредил решение суда добровольной ссылкой в Массилию.

Цицерон блестяще провел этот процесс, продолжавшийся девять дней. Попытка Гортенсия защитить Верреса не удалась, и Веррес был вынужден даже отказаться от законного права *comperendinatio*<sup>42</sup>, в силу которой он мог бы перенести свое дело для возобновления его во второй сессии.

Успех Цицерона был полный, несмотря на то, что обвинительные пункты в первой речи были высказаны в самом общем виде, а также несмотря на связи Верреса с влиятельными лицами.

Возможно, что в этом успехе сыграло определенную роль и то обстоятельство, что как раз к этому времени был издан закон Аврелия Котты (*lex Aelia*), по которому восстанавливалась власть народных трибунов, должность цензора (отмененная Суллой) и были реорганизованы суды: постоянные судебные комиссии составлялись отныне из трех сословий: сенаторов, всадников, эрарных трибунов.

Таким образом, суд удовлетворил иск сицилийцев и возместил им понесенные убытки из имущества Верреса, правда, в сумме меньшей, чем 40 миллионов, так как последний скрыл часть своего состояния, захватив его с собой в ссылку.

После добровольного изгнания Верреса во второй сессии суда, естественно, не было надобности, и речи Цицерона, подго-

<sup>41</sup> Обвиняемый имел право на такое добровольное изгнание не дожидаясь приговора суда. В таком случае, он считался как бы в формальной ссылке и даже освобождался от грозившей ему смертной

<sup>42</sup> В уголовных процессах допускалась одна отсрочка, т. е. следствие откладывалось один раз (*comperendinatio*). Окончательное решение, таким образом, должно было быть принято судом во второй сессии.

товленные к произнесению в ней, так и осталось произнесенными.

Уже впоследствии Цицерон счел нужным тщательно обработать собранный им богатый и интересный материал и, придав ему определенную литературную форму, опубликовать его вместе с речью, прочитанной в первой сессии и дивинацией. Таким образом, речь приобрела значение не судебного, а чисто литературного произведения.

Обнародованные в обработанном виде речи не могли не способствовать дальнейшему процветанию красноречия в Риме. Цицерон знал это и, издавая их, преследовал две цели: риторическую и юридическую. Во-первых, он хотел оставить потомству литературные образцы ораторской речи, а во-вторых — памятник своей политической деятельности. Кроме того, он находил нужным оградить себя от возможных нападков завистников и врагов, которые могли в недалеком будущем представить Верреса безвинно пострадавшим и извратить смысл его обвинения. Цицерон убеждал, что Веррес ничего бы не достиг, дождавшись окончания суда.

Опубликование этих речей было важно для Цицерона и как для политического деятеля, мужественно выступающего перед народом против могущественного человека, поддерживаемого знатными римскими фамилиями. Его самолюбию льстила также мысль, что он, молодой оратор, имеет шансы превзойти такого известного оратора того времени, как Гортенсий.

Материал, предназначенный для второй сессии суда, Цицерон, вследствие его обширности, разделил на пять книг или глав, посвященных отдельным видам преступлений Верреса. При этом он издал речи так, как если бы готовил их к произнесению, т. е. в форме судебного разбирательства, предполагающего присутствие Верреса, его защитников, судей-сенаторов, председателя суда и народа.

В этих речах дан обзор всей жизни, всех преступлений Верреса. Все пять речей носят одно общее название «*Actio secunda in Verrem*». Кроме того, каждая часть уже позднее озаглавлена древними грамматиками, хотя и не всегда точно, в соответствии с содержащимся в ней материалом.

Первая из частей или книг называется *De praetura urbana* и касается городской претуры Верреса в 74 г. и жизни его еще до назначения в Сицилию в 73 г.

(Согласно античной теории ораторского искусства, оратор должен был описывать предшествующую жизнь обвиняемого, чтобы вернее предположить, мог ли он совершить то, в чем его обвиняют. Такой обзор прошлой жизни подсудимого позволял использовать в речи насмешку. Может быть благодаря именно этому приему, Цицерону удалось создать яркий и законченный

портрет Верреса. При этом, оратор мог приводить в подтверждение сказанного всякие, порой даже непроверенные слухи, сплетни, если они были для него в какой-то мере выгодны, если же нет — он мог их обойти или же всячески дискредитировать. Свидетельские показания оратор также использовал в нужных ему целях, то пренебрегая ими, то преувеличивая их значение).

Вторая книга, озаглавленная *De iudiciis* или *De iurisdictione siciliensi* («О судебном деле или о сицилийском наместничестве»), рассказывает о произвольном и продажном правосудии Верреса в Сицилии.

Третья — *De frumento* («О хлебе») касается вымогательств Верреса при взимании хлебной десятины (*frumentum decumanum*), покупного хлеба (*frumentum emptum*) и при замене хлебной повинности денежной (*frumentum aestimatum*).

Четвертая часть — *De signis* («О предметах искусства») повествует о незаконном присвоении Верресом предметов искусства у отдельных граждан и у целых городов.

Наконец, пятая — *De suppliciis* («О казнях») рассматривает действия Верреса как полководца в Сицилии во время союзнической войны и войны с пиратами.

Во всех этих книгах Цицерон подает обвинения Верреса очень подробно и мотивированно. Не перечисляя всех преступлений Верреса, приведенных в этих речах, следует все же сказать о наиболее характерных из них, о тех, которые и доставили Цицерону исчерпывающий материал для обвинения.

Цицерон умышленно рассказывает о действиях Верреса еще до назначения последнего в Сицилию, чтобы поведение его в Сицилии представлялось более вероятным. Коснувшись в нескольких словах прежней беспутной и бесславной жизни Верреса в молодости, Цицерон раскрывает затем темное прошлое политического проходимца — Верреса за те 14 лет, когда он был квестором, легатом в Азии, городским претором и наместником в Сицилии: «Здесь не найдется ни одного часа, где бы ты не оказался вором, преступником, тираном или развратником» («Против Верреса», *Actio II*, I, 12, § 34).

Цицерон разделил свою обвинительную речь на четыре части, согласно занимаемым Верресом должностям:

1) Квестура в Цизальпийской Галлии, в консульство Карбона (82 г.), когда Веррес, захватив военную кассу, оставив своего консула, войска, свои обязанности и провинцию, перешел на сторону Суллы (*Actio II*, I, 13, § 34).

2) Легация и проквестура Верреса в Азии при Долабелле (80 и 79 гг.), когда Веррес, разграбив провинцию, предал своего покровителя.

Цицерон обвиняет Верреса в многочисленных грабежах, развороте и алчности, подтверждая свое обвинение рядом кон-

кретных примеров. Так, например, под влиянием алчности Веррес потребовал от милетцев корабль, который должен был сопровождать его в Минд. Получив лучший во флоте вооруженный корабль и прибыв в Минд, он отправил матросов пешком назад в Милет, а корабль продал людям, объявленным врагами государства (*Actio II*, I, 34 § 86—87). Цицерон ставит в вину Верресу и злоупотребления при взимании податей.

Одним из замечательных по своей художественности рассказов этой книги является рассказ о страсти Верреса к дочери жителя Лампсака, некоего Филодема, о попытке ее похищения Верресом, о вступившихся за ее доброе имя отца и брата, которые стали жертвами подлости и самых низменных страстей безнравственного человека (*Actio II*, I, 25—30, § 64—76).

3) Городская претура (74 г.).

Касаясь непосредственно городской претуры Верреса, Цицерон рассказывает о злоупотреблениях Верреса в судебном деле, а также о его «деятельности» по части заключения подрядов на сооружение и ремонт общественных зданий и принятия их от подрядчиков. Цицерон приводит несколько случаев дел по наследству, характеризующих Верреса как человека жестокого и надменного, взяточника, готового пойти на всевозможные бесчестные сделки.

Эти первые три части и составляют содержание первой книги.

4) Четвертая часть о сицилийском наместничестве Верреса — основное ядро обвинения — распределяется по четырем последующим книгам, т. е. 2, 3, 4 и 5, соответственно содержанию обвинения.

Таким образом, со второй книги Цицерон переходит к главной части обвинения, т. е. к преступлениям Верреса — пропретора в Сицилии в 73—71 гг. Он раскрывает деятельность Верреса как верховного судьи провинции, обвиняя его в несправедливом суде и вымогательствах.

Во вступлении к этой книге, касаясь прошлого Сицилии, Цицерон говорит об услугах, оказанных ею римскому государству, о верности римскому народу, о ненависти сицилийцев к Верресу. Он отзываясь о сицилийцах, как о людях честных, трудолюбивых, бережливых и терпеливых; однако тирания Верреса оказалась невыносимой и для них, она превзошла всякую меру, и жители Сицилии, до этого времени не обвинявшие никого из наместников, своим горем и слезами заставили Цицерона отступить от основного правила его жизни и выступить обвинителем, хотя такая роль, говорит Цицерон, и не соответствовала его расчетам и нраву. Правда, Цицерон считает, что даже и в этом процессе он с большим правом может называться защитником, чем обвинителем (*Actio II*, II, 4, § 10). В ввод-

ной же части Цицерон рассказывает о трудностях, которые пришлось преодолеть сицилийцам, прежде чем прийти на суд: одним из них угрожали, других, которые могли бы дать важные показания о поступках Верреса, удерживали силой и заключали под стражу, третьим обещали вознаграждение, если они станут хвалить Верреса.

Депутацию, одобрявшую действия Верреса, прислали, однако, только мамертинцы из Мессаны, если не считать сиракузцев, которые своими похвалами лишь еще больше изобличили Верреса перед судом (Actio II, II, 5 § 14). Цицерон с иронией замечает, что они явились, чтобы вместе с Верресом сидеть на скамье подсудимых и уплатить вместе с ним убытки, нанесенные остальным сицилийцам (Actio II, II, 18, § 45).

Цицерон заявляет, что готов пойти на уступку Верресу, «если окажется, что он заслужил одобрение какого бы то ни было народа — сицилийцев ли или наших сограждан, какого бы то ни было сословия — крестьян ли или скотовладельцев, или торговцев, если он не был их общим врагом и грабителем, если он кому-либо в чем-либо когда-либо оказал пощаду...» (Actio II, II, 6, § 17).

Останавливаясь подробно на судебной деятельности Верреса, Цицерон рассказывает о несправедливых судах, как по гражданским, так и по уголовным делам, руководимых или лично Верресом или им же назначенными лицами. Разбирая дела, касающиеся наследства, Веррес беспощадно обирал людей, оставляя их нищими; наследник мог сохранить за собой наследство, лишь поделив его с Верресом (Actio II, II, 14—20). Недаром Цицерон с едким сарказмом говорит, что римляне предсказывали, что Веррес будет «метлой» для провинции, строя остроумный каламбур даже на имени Верреса (vergere — значит «мести») (Actio II, II, 6, § 18).

Цицерон рассказывает о том, как по воле Верреса в Сиракузах было отменено празднование Марцеллий, в честь покровителя Сиракуз Марцелла, и учреждены вместо них в честь его самого великолепные «Веррии», при этом Веррес приказал сдать на несколько лет вперед обязательства на поставку всего необходимого для жертвоприношений и народных угощений в этот день.

«О, эти чудные Веррии! — иронически восклицает Цицерон, обращаясь к Верресу. — Скажи мне, куда приходил ты без того, чтобы не принести с собой и этого дня. В какой дом, в какой город, в какой, наконец, храм вступал ты без того, чтобы не вымести и не очистить его до тла? Поэтому, конечно, можно оставить за этим праздником имя Веррии, чтобы казалось, что он установлен не в честь твоего имени, а в честь твоих рук и твоего характера» (Actio II, II, 21, § 52). Так же, как по граж-

данским, велись процессы и по уголовным делам. Цицерон возмущается продажностью и жестокостью Верреса, приводя конкретные примеры его суда, например, Сопатра Галикийского и Стения Термитанского. С особенным гневом он рассказывает о процессе последнего, который помешал Верресу вывезти из Терм памятники искусства, оставленные здесь еще Сципионом Африканским. Веррес, обозленный отказом Стения отдать статуи, обвинил его в подделке официальных бумаг и хотел осудить без всяких доказательств вины, не привлекая даже свидетельских показаний. Стений бежал в Рим, а Веррес вынес приговор в его отсутствие, не выслушав даже оправданий. Затем он заочно обвинил Стения в уголовном преступлении и осудил его в отсутствие свидетелей и обвинителя. Стений, честный и мужественный человек, пользовался большим уважением и влиянием во всей Сицилии, и Цицерон не упускает случая сравнить с ним Верреса, дав последнему уничтожающую характеристику (Actio II, II, 34—47, § 83—118).

Цицерон подчеркивает, что Веррес, осуждая Стения в подделке официальных документов, сам не может защититься от обвинения в подделке книг в деле самого Стения. Пользуясь, как обычно, удобным случаем блеснуть своим остроумием, Цицерон и здесь искусно играет словами: «vertit stilnm in tabulis suis, quo facto omnem causam evertit suam» [Веррес] сделал пометку в своих книгах, чем окончательно замарал все дело» (Actio II, II, 41, § 101).

В этой же книге Цицерон касается и других преступлений Верреса: торговли общественными должностями — сенаторской, цензорской, жреческой («...в продолжении трех лет ни в одном городе во всей Сицилии никто не сделался сенатором иначе, как за деньги вопреки законам», — Actio II, II, 49, § 120), вымогательства денег от цензоров и от общин на статуи себе, наконец, проделок с откупщиками.

Во всех этих делах Верресу помогали его сообщники. Портрет одного из таких прислужников, отпущенника и акценза Верреса — Тимархида, нарисован Цицероном особенно выпукло и живо (Actio II, II, 54, § 134-136).

В наместничество Верреса не были даже ради формы объявлены выборы цензоров — во все города они назначались. Цензорами было назначено 130 человек, каждому из которых Веррес приказал внести по 300 денариев на постановку статуи пропретору в виде платы за должность. Цензоры же в свою очередь отыгрывались на народе.

«В твое наместничество был установлен такой ценз, на основании которого не могла правильно управляться ни одна община — ценз богатых уменьшался, бедных — увеличивался; поэтому распределением податей простой народ был угнетен

так сильно, что, хотя бы и молчал, само положение дела свидетельствовало бы против этого ценза...» (Actio II, II, 60, § 138).

Под предлогом постановки статуй Веррес приобрел себе деньги, внесенные по принуждению городами в сумме двух миллионов сестерций.

Со свойственной ему иронией Цицерон замечает по этому поводу: «...в честь его [Верреса] на площади Сиракуз стоит триумфальная арка, где находится голая статуя его сына, сам же он смотрит с коня на голую, по его милости, провинцию; его статуи встречаются везде для того, чтобы показать, вероятно, что он поставил в Сиракузах статуй едва ли не больше, чем украл» (Actio II, II, 63, § 154).

Веррес вывоз из Сиракуз громадное количество золота, серебра, слоновой кости, пурпурных тканей, массу милетских материй, множество ковров, делосских изделий, коринфских ваз, много четвертей хлеба, меду и не заплатил за это пошлины (Actio II, II, 72, § 176).

Цицерон показывает, с какой силой ненавидели своего угнетателя сицилийцы, если статуи его, поставленные в публичных местах и даже в храмах были «грустно низвергнуты целым народом» (Actio II, II, 65, § 158). Религиозный обычай греков, в силу которого они оказывают пощадку статуям врагов даже во время войны, не спас статуи пропретора римского народа во время глубокого мира (Actio II, II, 66, § 160).

В третьей книге Веррес изобличается в злоупотреблениях при поставках хлеба. Дело это и по существу и вследствие множества допущенных в нем Верресом злоупотреблений занимает в обвинительном акте Цицерона большое место, но, как оговаривается Цицерон, из-за сухости и однообразия является наименее благодарной темой для речи (Actio II, III, 5, § 10). Тем не менее рассказы написаны интересно в рамках даже такого сухого сюжета. Речь идет о насущном вопросе снабжения римского населения хлебом, поставляемом Сицилией, издавна считавшейся житницей Рима<sup>43</sup>.

<sup>43</sup> Сицилия в своей большей части принадлежала к таким провинциям, подать которых зависела от урожая, составляя его десятую часть (*decuma*). Ежегодно земледельцы заявляли о доходности своей земли, а затем десятая всей общины продавалась римскими властями с публичных торгов тому, кто предлагал наибольшую сумму. Торги производились в Сиракузах. Откупщиком мог быть тот самый город, десятина которого продавалась, если он предлагал более крупную сумму чем другие. Кроме десятинных общин, были цензорские общины (*civitates censoriae*), доходы с земли которой отдавались в откуп римскими цензорами-откупщиками. Цицерон беспощадно разоблачил в этой речи злоупотребления откупщиков. Податей Риму не платили лишь две категории сицилийских общин: «союзные» и так называемые «свободные общины», пользовавшиеся автономией. Из 68 общин таких было всего 8, в том числе и Мессана, находящаяся под покровительством Верреса,

Обвинение делится на три части: злоупотребление Верреса относительно десятины, покупного хлеба, оценки хлеба.

Цицерон рассказывает о том, как Веррес в интересах своего корыстолюбия, ради собственной наживы хищнически разграбил провинцию, доведя дело до того, что земледельцы, особенно мелкие, бросали свои земли. Мрачную картину представляла собой Сицилия, когда Цицерон вернулся туда, спустя четыре года после своей квестуры: «...ее земли показались мне как бы вынесенными жестокою и продолжительною войну. Те поля и холмы, которые я видел раньше такими цветущими, утопавшими в зелени, я видел теперь опустошенными и брошенными...» (Actio II, III, 18, § 47).

Прежде всего Цицерон обвиняет Верреса в продаже всего урожая и даже более того, всего скарба земледельцев, как он говорит, которые считали уже величайшим благодеянием для себя, если им приходилось платить три десятины, вместо положенной одной (Actio II, III, 16, § 40—41) «...в течение трех лет вся десятинная область была данницей римского народа в размере одной десятой, данницей Г. Верреса в размере всех остальных девяти десятых своего урожая;...» (Actio II, III, 43, § 103) в результате чего десятинные земли опустошены и истощены, земледельцы выгнаны со своих мест, провинция разорена и ограблена (Actio II, III, 51—52).

Откупщики Верреса, «слуги и холопы его страстей», «в продолжение трех лет так ограбили и опустошили провинцию, что мы едва ли можем вернуть ее к жизни в течение многих лет, с помощью многих честных и умных людей»,— говорит Цицерон (Actio II, III, 8, § 21).

Главным из откупщиков Цицерон называет Апрония, сообщника Верреса по грабежам храмов, по непристойным попойкам. Остро сатирическая характеристика этого негодяя и картина его «деятельности», показанная Цицероном, великолепно гармонирует с образом самого Верреса и как бы усугубляет его (Actio II, III, 9—26). Давая характеристику Апронию, «который не сумел сохранить чистой не только свою душу, но даже свое дыхание» (*qui non modo animum integrum, sed ne animam quidem puram conservare potuisset*) Цицерон не обходится без остроумной насмешки (Actio II, III, 58, § 134).

Если большие и плодородные земли Веррес опустошал сам, т. е. через Апрония, второго Верреса,— в небольших городах орудовали по его приказу другие откупщики. Из-за их несправедливости и своеволия многие сицилийцы даже лишали себя жизни (Actio II, III, 56, § 129).

ввиду своего особого положения (Actio II, IV, 9, § 20—24). По отношению ко всем остальным общинам Веррес вел самую неприкрытую грабительскую политику.

Цицерон знакомит далее читателя «со страшным и отчаянным грабительством Верреса при покупке хлеба» (Actio II, III, 70, § 163). На покупку хлеба в Сицилии Верресу было ассигновано 12 миллионов сестерций в год. Эти деньги были расхищены им с помощью различных мошеннических проделок. Так, например, вместо пшеницы, которую должны были поставлять города, Веррес брал с них деньги по той цене, по какой продавалась пшеница в Сицилии, и все казенные деньги оставлял себе (Actio II, III, 73, § 170).

Цицерон беспощадно разоблачает махинации Верреса: «...так как весь [требуемый] хлеб и без того уже, благодаря его злоупотреблениям в десятинном деле, был в его руках, то взамен доставляемого ему хлеба, который он признавал негодным, он требовал от городов деньги, и все количество хлеба, которое должен был отправить в Рим, посылал из своих кладовых... он признавал негодным хлеб, доставленный городами и доброкачественным — свой; признавая доброкачественным свой, назначал этому хлебу цену, назначив — брал ее от городов, удерживая себе ту сумму, которую он получил от римского народа» (Actio II, III, 73, § 171).

А ведь десятинный хлеб, находящийся в кладовых Верреса, был снят с тех же самых полей, урожая того же года. Почему же он признавался доброкачественным, а взятый из того же амбара платный нет? — с искренним возмущением спрашивает Цицерон. Не ясно ли, что вся эта браковка была придумана ради наживы? Ведь Веррес требовал деньги за все количество требуемого им с городов хлеба, признавая этот хлеб негодным. И таким образом отправлял в Рим хлеб, купленный на деньги сицилийцев, а казенные деньги присваивал себе (Actio II, III 74 § 173).

Наконец Цицерон рассказывает о злоупотреблениях Верреса правом наместника покупать у провинциалов по казенной цене хлеб на содержание своей свиты.

Согласно сенатскому постановлению, Верресу, как наместнику, предоставлялось право требовать хлеб для своих кладовых, причем сенат назначал определенные, всегда постоянные цены за модий пшеницы. В неурожайные годы эта цена была разорением для землевладельцев, поэтому вошла в обычай «оценка хлеба». Земледельцы откупались деньгами от повинности поставлять хлеб по казенной цене. Просить наместника «оценить хлеб» земледельцев побуждали, кроме неурожая, и другие причины — например, трудность доставки хлеба и связанные с этим дополнительные расходы. Веррес, воспользовавшись этим, заставлял земледельцев платить за хлеб в несколько раз дороже казенной цены. Мерилом оценки служила, таким образом, исключительно прихоть наместника. В то время, как

модий пшеницы стоил в Сицилии два сестерция или, в крайнем случае, три, он требовал с земледельцев три денария<sup>44</sup> за модий. Кроме того, Веррес произвольно увеличил количество модиев хлеба, которое ему разрешалось требовать (Actio II, III, 81, § 188—189). «Он потребовал от городов впятеро больше того, сколько ему позволено взять» (Actio II, III, 97, § 225).

Книга заканчивается патетической картиной печального положения земледельцев Сицилии.

Обличая алчность, беззаконие и несправедливость Верреса, Цицерон, обращаясь к судьям, заявляет, что, если эти пункты обвинения свойственны не одному только Верресу и относятся не к одной только провинции, то он выступает защитником всех провинций.

«Да, я утверждаю громко, во всеулышание: где бы ни было совершено это дело — оно совершено вопреки закону; кто бы ни был виновник — он заслуживает строжайшей кары» (Actio II, III, 93, § 217). Это заявление ясно выражает протест Цицерона против произвольного и хищнического управления провинциями, против несправедливостей и своеволия наместников. Недаром, несколько ранее, в предыдущей речи, Цицерон замечает, что подобные Верресу наместники отнюдь не были единичным явлением: «...сколько лиц оказывалось виновными в Азии, сколько в Африке, сколько в Испании, Галлии, Сардинии, сколько в самой Сицилии...» (Actio, II, II, 65, § 158).

Четвертая книга «De signis» («О предметах искусства») несколько отличается от других по своему характеру. Посвящается она обвинению Верреса в хищении произведений искусства и драгоценностей, принадлежащих как провинциалам (частным лицам или целым общинам), так и римским гражданам. Рассуждений в ней мало, зато вся она состоит из следующих одного за другим и не зависимых друг от друга рассказов, содержащих обличающий Верреса материал и описание знаменитых произведений искусства и драгоценных предметов, находившихся в Сицилии до наместничества Верреса.

Книга начинается кратким изложением ее содержания (propositio), кратким, но тяжелым обвинением Цицерона, утверждавшем, что во всей Сицилии «не было ни одной серебряной, коринфской или делосской вазы, ни одной геммы или жемчужины, ни одного произведения из золота или слоновой кости, ни одной статуи из бронзы или мрамора, ни одной картины, будь то писанная или вышитая, — словом, ни одного произведения искусства, которого бы он [Веррес] не разыскал, не рассмотрел, и — если оно ему нравилось — не взял бы себе» (Actio II, IV, 1, § I).

<sup>44</sup> Один денарий = четырем сестерциям.

Цицерон доказывает это свое утверждение рядом конкретных примеров, говоря подробнее о наиболее выразительных из них, упоминая о менее важных.

Первым намеренно приводится рассказ об ограблении Верресом одного из жителей Мессаны — Гея, у которого он при помощи насилия и угроз, под видом покупки, взял статуи высокохудожественной работы Праксителя, Мирона, Поликлета (Actio II, IV, 2—12, § 28). Легко можно себе представить, как вел себя Веррес с жителями других городов, если он мог ограбить своих друзей, в частности старшину хвалебной депутации из Мессаны, каковым был Гей, говорит Цицерон, подчеркивая, что эти самые друзья выступают фактически обвинителями Верреса, вместо того, чтобы быть его защитниками. Таким образом, получилось так, что хвалители только повредили Верресу.

«Мессана, твоя вторая родина, как ты обыкновенно называл ее, «подводит» тебя: да, твоя Мессана, помощница твоих преступлений, свидетельница твоего разврата, укрывательница твоей добычи и твоих грабежей» (Actio II, IV, 8, § 17),—обращается Цицерон к Верресу, разрушая характеристикой Мессаны надежды последнего, возложенные на похвалы ее депутации (Actio II, IV, 10, § 23-24).

Приводятся в пример рассказы об ограблении других частных лиц из разных городов, у которых Веррес забирал ценные вещи: серебряные сосуды, резное серебро, золотые кольца, драгоценные эмблемы, редкие художественные изделия (как, например, кувшин работы Бозта) и многое другое (Actio II, IV, 1, § 3-22, § 49).

Интересен не только с обличительной, но и с чисто художественной точки зрения рассказ о присвоении Верресом золотого канделябра, осыпанного драгоценными камнями, и других золотых вещей, принадлежащих сирийскому царю Антиоху, проездом остановившемуся в Сиракузах (Actio II, IV, 27-32).

Рассказ вначале привлекает легкостью стиля (Actio II, IV, 27), дальше стиль становится серьезнее и, наконец, переходит в очень энергичный. Антиох на площади во всеулышание объявляет о покушении пропретора, провозглашая посвящение канделябра Юпитеру и беря его в свидетели своего обета (Actio II, IV, 29). После живого изложения Цицерон заканчивает тем, что развивает главные обстоятельства дела и представляет их таким образом, чтобы показать все то, о чем он говорил, еще более жестоким. С помощью такой амплификации Цицерон хочет убедить судей в том, что вина Верреса бесчестит римский народ в глазах других народов. Судьи должны знать последствия такого пагубного святотатства, если Веррес останется безнаказанным (Actio, II, IV, 30 —32).

Веррес не ограничивался ограблением отдельных лиц, он расхищал памятники, принадлежащие целым общинам, например, он присвоил бронзовую статую Дианы Сегестинской, Меркурия Тиндаридского, Аполлона Агригентского работы Мирона, Цереры Катинской, Цереры Эниской и других. Последнее подчеркивается Цицероном, как особенно тяжелое оскорбление для сицилийцев. Поругание древнего культа Цереры вызвало их величайший гнев. Ведь Энской Церере в Сицилии воздаются особые почести. Вообще «весь остров Сицилия считается посвященным Церере и Прозерпине» (Actio II, IV, 48, § 106). Энна — центр Сицилии, и по древним верованиям эта местность является колыбелью названных богинь. Веррес же унес древнюю великолепной работы бронзовую статую Цереры с факелами. Мало того: перед храмом стояла другая статуя Цереры, увезти которую Верресу помешали ее огромные размеры, однако он приказал оторвать от статуи замечательную по красоте статую Победы, которую она держала в руке, и доставить ему (Actio II, IV, 49, § 109).

Ограбление храмов Цицерон считает особенно возмутительным, например, храм Минервы Веррес так обобрал и ограбил, что, казалось, его опустошил не обыкновенный враг, шадящий даже на войне святыню и уважающий обычаи, а какие-то дикие разбойники (Actio II, IV, 55, § 122). Оттуда были унесены произведения живописи, двери из золота и слоновой кости, служащие украшением храма, портрет Сафо работы прославленного ваятеля Силаниона.

Ограблены были и другие храмы (Эскулапа, Вакха, Юпитера), из которых уносились мраморные дельфики, бронзовые и коринфские сосуды (Actio II, IV, 55—59). Цицерон, остроумно играя словами *fero* (несу) и *aufero* (уношу), замечает, что Веррес более приспособлен быть носильщиком статуй, чем их владельцем (Actio, II, IV, 57, § 126). Цицерон доказывает лживость утверждения Верреса, ссылающегося на официальные записи, что будто бы он, по добровольному соглашению, купил все эти драгоценности, говоря, что во всей Азии и Греции нет города, который добровольно продал бы хоть одну статую, картину или украшение. «Эта мнимая, притворная покупка для городов тяжелее обыкновенной кражи или открытого присвоения и грабежа; они считают величайшим позором для себя эту запись в официальных грамотах, удостоверяющую, что граждане решились за деньги — и притом небольшие — продать завещанные предками памятники» (Actio II, IV, 60, § 134).

Четвертая книга имеет большое значение и для истории искусства. Некоторые описания произведений искусств в ней отличаются обстоятельностью и дают довольно конкретное представление об общем уровне культуры Сицилии. Интересно, на-

пример, описание «божницы» Гея с ее высокохудожественными статуями: мраморного Купидона, работы Праксителя, медного Геркулеса работы Мирона, статуи афинских дев, несущих на голове корзину со священными предметами или «канфоры» Праксителя (Actio II, IV, 2—3), бронзовой статуи Дианы из древнего города Сегесты (Actio II, IV, 33—35) и многое другое.

Именно эта книга позволяет судить о Цицероне как о тонком знатоке и ценителе всей греческой культуры.

Много в ней сведений и бытового характера.

Своеобразна по своей композиции четвертая книга. Как уже отмечалось, она содержит в себе не зависимые друг от друга рассказы о хищениях Верреса. Каждый отдельный рассказ имеет свое вступление, повествование, аргументацию и заключение и отличается законченностью, а также своеобразием характера и тона. Казалось бы, такой метод расположения материала, т. е. цепь рассказов об одном и том же роде преступлений, должен утомлять читателя однообразием и монотонностью, однако получается обратное: читателя поражает невероятное разнообразие тона этих рассказов, правдивое и живое описание всевозможных предметов и особенно персонажей.

Необходимо отметить и то, что порядок следования рассказов не носит случайного характера, а, наоборот, рассказы следуют один за другим по тщательно обдуманному плану. Они расположены так, чтобы способствовать постепенному возрастанию интереса к ним у читателя. Сначала говорится об ограблении частных лиц, потом о грабеже и опустошении целых храмов, составляющих славу и гордость не только сицилийцев, но и римского народа.

Такая классификация позволяет поддерживать интерес, возбужденный у читателя, до конца речи.

Анализируя с большим искусством и горячностью преступления Верреса, Цицерон заставляет читателя почувствовать всю тяжесть преступления и вызвать тем самым его гнев.

При этом каждый из рассказов написан в том тоне, какой ему более всего подходит по содержанию.

Там, где Цицерону приходится опровергать доводы Верреса, он подавляет его и красноречием мысли и точностью выражений, там же, где он говорит о жадности Верреса — поле действия предоставляется насмешке, презрительной шутке, яркому контрасту (например, противопоставление жадности Верреса честности Пизона — Actio II, IV, 25 и т. д.).

Разнообразие стиля этой книги легко ощущается, например, при сравнении рассказа о приключении Памфила из Лилибея (Actio II, IV, 14, § 32) с описанием Сиракуз (Actio II, IV, 52—53) или с рассказом о краже канделябра.

Этот последний, как уже отмечалось, особенно выделяется из других богатством сюжета и художественностью отделки, наряду с рассказом о похищении статуй Дианы Сегестинской (Actio II, IV, 33, § 72; IV, 36, § 79) и Цереры Эннской (Actio II, IV, 48, § 106; IV, 49, § 110).

Цицерон как бы извиняется, что оставил здесь повседневный язык, говоря: «...боюсь, что моя речь явится для суда чем-то странным, каким-то исключением среди ежедневно произносимых речей» (Actio II, IV, 49, § 109).

Рассказывая о разграблении Сиракуз, Цицерон сравнивает действия Верреса с действиями Марцелла при взятии Сиракуз, противопоставляя одни другим. Здесь антитеза придает мысли особую живость, будучи естественным изображением поведения двух людей, показанных в прямой противоположности (Actio II, IV, 52, § 115-116)<sup>45</sup>.

Антитезой Цицерон пользуется постоянно; так, например, несколько ранее, в конце главы он сравнивает Верреса с беглыми рабами, варварами, врагами (Actio II, IV, 50, § 112).

Часто проводится контраст<sup>46</sup> между делами Верреса и Сципиона (Actio II, IV, 35, § 77; IV, 25, § 57), Верреса и Пизона Честного, Верреса и Марцелла (Actio II, IV, 44, § 121); от такого резкого противопоставления мыслей Верреса и его поступков, дурные стороны Верреса выступали еще более ярко.

Все эти картины настолько художественны, что позволяют судить о Цицероне как о гениальном мастере римской литературной ораторской речи.

Пятая и последняя книга рисует деятельность Верреса как полководца. В этой книге Цицерон переходит к самой эффектной части своего обвинения, раскрывая самые гнусные преступления Верреса — потерю целой военной эскадры, осуждение и казнь невинных ее капитанов, распятие на кресте римского гражданина.

Но, поскольку эти обвинения не имели прямого отношения к закону о вымогательствах и не представляли поэтому интереса для разбиравшей дело Верреса уголовной комиссии de repetundis, Цицерону пришлось прибегнуть к некоторому словесному ухищрению. Он заранее, предвосхищая возражения противников, опроверг намерение их изобразить Верреса хорошим полководцем, героем, который якобы спас Сицилию от угрожавших ей войн невольнической и пиратской<sup>47</sup>. Цицерон доказал,

<sup>45</sup> Это место Цицерон почти целиком приводит в качестве примера в «Ораторе» 49, говоря о фигурах, ритме и размере речи.

<sup>46</sup> Будучи сам по себе крупной антитезой, он способствует возникновению ряда мелких антитез.

<sup>47</sup> Борьба с пиратами была одной из основных обязанностей сицилийского наместника.

во-первых, неосновательность опасений противников о вероятности возникновения невольнической войны, а во-вторых — нецелесообразность принятых Верресом мер для предотвращения этой войны. Во всех действиях Верреса Цицерон находит только доказательства его бездеятельности, непредусмотрительности, его ненасытной жадности. С тонкой иронией рисует Цицерон картины жизни Верреса в полных чувства отступлениях, в так называемых эгрессиях (*egressiones*) (*Actio II, V, 10—15, § 39*). Это — ядро характеристики Верреса как «полководца». Рассказы здесь настолько колоритны, наглядны и обстоятельны, что сами собой убеждают читателя, не требуя специальной аргументирующей части, необходимой в других речах. Таким образом, элементы аргументации вплетены здесь в самый рассказ, и главная часть речи — *tractatio* не выделена особо. Все начало речи — сплошная ирония, как нельзя более уместная при описании «военных талантов» Верреса. Цицерон дает язвительную характеристику этому «полководцу», с большим остроумием рассказывая об устраиваемых им оргиях и насмешливо сравнивая побоище на пиру с битвой при Каннах, кончившейся разгромом римлян. Иронией пронизано и описание прогулок Верреса, наподобие изнеженных вифинских царей в усыпанных розами носилках, которые носят восемь рабов (*Actio II, V, 10—13*); едким сарказмом пропитан рассказ о прошлой жизни Верреса, о его «походах» (*Actio II, V, 13, § 32*). Рассказывает Цицерон о таких, например, «подвигах» Верреса, как незаконное дарование мамертинцам льгот по части морской повинности (*Actio II, V, 17, § 43—23*). Веррес разрешил им не ставить бирему (двухъярусный корабль) в сицилийский флот, приказав выстроить для себя лично кибею (корабль, величиной с военную трирему). Эта обязанность была менее тяжелой, чем у других общин, которые должны были ставить квадрирему.

Рассказывает Цицерон о захвате пиратского судна, капитана которого Веррес отпустил, а матросов присвоил или раздарил своим друзьям. Часть пиратов была заключена в сиракузские каменоломни, но под именем пиратов оттуда выводились на казнь другие (*Actio II, V, 25, § 63—30*). Цицерон доказывает, что морская администрация при Верресе имела целью не оборону провинции от пиратов, а доставку богатств Верресу за счет средств, выделенных в его распоряжение правительством.

Главное обвинение в этой книге — это *crimen navale* (морское преступление), где рассказывается о появлении пиратов в сиракузской гавани, о гибели по вине Верреса военной эскадры, о несправедливом суде над невинными капитанами, об их жестокой казни и горе их родителей.

Все приморские города должны были, соответственно соглашению, содействовать снаряжению флота, т. е. построить на

свой счет корабль и взять на содержание его экипаж. Веррес потребовал себе деньги, предназначенные для этой цели. Однако вместо снабжения экипажа продовольствием он уволил часть матросов и продал их. Эскадра, оставленная без средств к существованию и переданная под командование одного сиракузянина, была сожжена пиратами в самом порту Сиракуз. Веррес, напуганный возмущением не только сицилийцев, но и римлян, поспешил обвинить в измене капитанов кораблей и осудить их на смерть.

Более того, открыто продавалось право погребения еще живых заключенных (*Actio II, V, 45*), как об этом с острым сарказмом говорит Цицерон, пользуясь внутренне противоречивым словосочетанием «*vivorum funera*» (троп оксиморон). Цицерон требует мести за такую намеренную страшную жестокость.

Слезы Сицилии, а не честолюбие, восклицает Цицерон, заставили меня явиться на суд. «Я не хотел, чтобы несправедливое осуждение, тюрьма, оковы, розги, секиры, чтобы пытки союзников, кровь невинных, бледные трупы казненных, скорбь родителей и родственников — чтобы все это служило источником наживы для наших магистратов» (*Actio II, V, 49, § 130*).

Стремясь еще более усилить впечатление, Цицерон прибегает и здесь к эффектному противопоставлению выражений: «*sanguis innocentium... exanquium corpora mortuorum*» («кровь невинных... обескровленные тела мертвых»).

Цицерон обращает внимание судей на то, что сицилийцев особенно потрясло именно это событие, что они уже не требуют у суда возврата своей собственности, боясь, что римский народ примирился с такого рода хищничеством. «Действительно, вот уже много лет, как мы равнодушно смотрим на переход всех богатств, которыми некогда обладали народы, в руки немногих людей; это наше равнодушие еще ярче освещается развязностью хищников... а их усадьбы украшены и переполнены множеством прекрасных трофеев, взятых у наших вернейших друзей! Понимаете ли вы, куда девались денежные богатства иностранных народов, сплошь и рядом бедствующих, когда вы видите, что Афины, Пергам, Кизик, Милет, Хиос, Самос, вся Азия, вся Греция, вся Сицилия помещаются в немногих усадьбах?» (*Actio II, V, 48, § 126—127*). Настаивая на этой жалобе более, чем на других, сицилийцы желали лишь одного — осуждения Верреса.

Здесь особенно ясно ощущается протест Цицерона действиями магистратов, подобных Верресу, выражающийся то открытым возмущением, то в форме ядовитой насмешки, звучащей зачастую еще убедительнее и острее, чем любая патетическая аргументация. Например, великолепно нарисованная сцена проводов военной эскадры вся проникнута тончайшей иронией и содержит в себе ряд чисто комических деталей, беспощадно и

остроумно дискредитирующих Верреса как полководца. Веррес стоит на берегу, поддерживаемый женщиной; вместо военной одежды на этом новомодном «полководце» пурпурный плащ, длинная туника и сандалии — одеяние, нарушающее римский военный обычай. Когда же ночью приходит известие о сожжении эскадры пиратами, он, заспанный и непротрезвившийся, не может даже понять, в чем дело (Actio II, V, 35, § 93; V, 36, § 94).

В лице Верреса Цицерон насмехается над всей знатью, над теми «счастливыми», которые все почести римского народа получают во сне (Actio II, V, 70, § 180). Суть блистательно написанного рассказа о гибели эскадры и казни ее капитанов, весьма оригинально выражена в *enumeratio*: не простым резюмированием ранее обсужденных преступлений (как это обычно делалось для напоминания судьям главных пунктов обвинения), а в замаскированной форме обвинительного обращения к Верресу его отца (Actio II, V, 52). Это позволяет Цицерону сделать естественный вывод — если сам отец Верреса не мог бы не осудить сына, как же могут поступить судьи?

Особенное негодование Цицерона вызвало жестокое обращение Верреса с римскими гражданами. Он рассказывает об истязании их розгами, о казни в тюрьме римских торговцев, взятых в плен, ограбленных и объявленных солдатами Сертория (Actio II, V, 54-60).

Наконец самая эффектная часть обвинения — это наглядное описание казни Гавия. Произвол и жестокость Верреса дошли до того, говорит Цицерон, что он приказал сечь розгами на площади Мессаны римского гражданина, а затем распять его на кресте только за то, что Гавий хотел жаловаться на него.

Это злодеяние Верреса превзошло по жестокости все другие, и Цицерон умышленно, следуя правилу постепенного развития речи и нарастания тона, приберег его описание для конца своей речи, стремясь тем самым усилить впечатляющее действие рассказа и сохранить его как можно дольше в умах слушателей и судей. Рассказ о казни Гавия написан в возбужденном тоне и прерывается неоднократными восклицаниями, выражающими глубочайшее возмущение Цицерона:

«Вот оно, это сладкое имя свободы, это гордое право, сопряженное с нашим гражданством! Вот он закон Порциев, законы Семпрониевы!<sup>48</sup> Вот она трибунская власть, по которой простой народ в Риме так сильно тосковал, восстановления которой он едва мог дожидаться! Вот куда все это завело нас — римский гражданин был связан на площади союзного города

<sup>48</sup> Согласно этим законам римский гражданин мог быть к смертной казни только судом римского народа.

в провинции римского народа и подвергся бичеванию со стороны того, кто своими фасциями и секирами был обязан благоденствию римского народа! (Actio II, V, 63, § 163).

Цицерон неоднократно упоминал о казни Гавия и ранее, здесь же он описывает это преступление подробно и со всей удивительной силой своего неистощимого красноречия. Горячность его, доведенная до предела, естественно, должна была захватить и слушателей, которые ревниво оберегали свою свободу и гордились своими правами римских граждан.

Заканчивая речь обращением к Гортенсию, Цицерон советует ему отказаться от опасного для него пути защиты Верреса.

«Наше государство терпело, пока могло, пока должно было, вашу царскую власть в судах и во всех государственных делах; оно терпело ее, да; но с того дня, когда римскому народу вернули народных трибунов, время этой власти — желательно, чтобы вы, наконец, поняли это — для вас прошло безвозвратно. В это самое время, когда происходят наши прения, все устремляют свои взоры на всех нас, все смотрят, честно ли я веду обвинение, добросовестно ли постановляют приговор они, как действуешь в роли защитника ты. Стоит кому-либо из нас хоть немного свернуть с прямого направления и его будет судить не безответное общественное мнение, которое вы прежде так презирали, а строгий и свободный суд римского народа» (Actio II, V, 68, § 175-176).

В этом заключительном обращении ясно выражены демократические настроения Цицерона. И вполне очевидно, что во всей речи тон его был искренним, так как сам он был представителем всаднического сословия, наиболее сильно пострадавшего от сулланского режима, и, естественно, ратовал за восстановление всаднического суда. Кроме того он, конечно, очень хотел помочь ограбленным Верресом сицилийцам, тем более, что они обратились с просьбой о защите именно к нему.

Цицерон прямо говорит здесь, что в государственных делах надо считаться с настроением времени: «А настроение времени нынче таково, что римский народ желает передать суды другим людям, другому сословию» (Actio II, V, 69, § 177)<sup>49</sup>.

Цицерон как бы бросает вызов всему тому избранному обществу, представители которого, шутя, добиваются всех почестей в государстве, противопоставляя им Катона не происхождением, а личными качествами расположившего к себе народ и завоевавшего величайшую славу своему роду лишь своим трудом, пренебрегая ненавистью влиятельнейших людей. Правила и взгляды таких людей собирался усвоить и Цицерон:

<sup>49</sup> Ср. «Дивинацию против Цецилия», 3, § 8, где эта мысль выражена еще более отчетливо.

«Мы знаем, с какой завистью, с какой ненавистью некоторые члены знати преследуют талант и трудолюбие «новых» людей; стоит нам хоть на минуту закрыть глаза — тотчас нам грозит засада, стоит нам дать малейший повод к подозрению или обвинению — тотчас нам наносят рану; мы знаем, что мы неустанно должны бодрствовать, неустанно должны трудиться. Встречается на нашем пути чья-либо вражда — мы должны побороть ее; встречается трудное дело — мы должны исполнить его. Не в этом главное препятствие; страшнее объявленной и открытой ненависти — молчаливая и тайная, а этой нам никак не избежать. Нет среди знати ни одного почти человека, который относился бы доброжелательно к нашему трудолюбию; никакими услугами не в состоянии мы заслужить их благоволение; как будто природа создала нас из другого семени, так чуждаются они нас во всех своих мыслях и стремлениях» (Actio II, V, 71, § 181-182).

И тем не менее Цицерон твердо заявляет о своем непреклонном решении преследовать всех виновных в подкупе суда, если дело обернется в сторону, благоприятную для Верреса, предать их суду народа (Actio II, V, 71, § 183).

Этой своей твердостью, мужеством и преданностью интересам народа Цицерон рассчитывал заслужить его доверие.

Речь заканчивается блестящим и полным пафоса обращением к богам, храмы которых ограбил Веррес: к Юпитеру, Юноне, Минерве, Латоне, Аполлону, Диане, Меркурию, Геркулесу, Церере и Прозерпине и другим. Цицерон умоляет богов отомстить за несправедливости, которые они потерпели от Верреса (Actio II, V, 72, § 184—189).

Мысль закончить таким образом свою речь очень интересна и оригинальна — ведь она дала Цицерону возможность собрать вместе и повторить снова в немногих словах все святоотечества Верреса. Это своего рода «религиозное» *enumeratio* (перечисление), данное в форме молитвенного обращения, и в конце речи, рассчитанное на известный эффект, так как имена богов возбуждали у римлян чувство особого уважения и почта. Кроме того, Цицерон неустанно заботился о том, чтобы судьи, слушая об одном роде обвинения, не забывали и об остальных. В речах против Верреса этот ораторский прием был необходим, более чем в других речах, ввиду многочисленности и разнообразия преступлений Верреса.

Всех речей против Верреса, включая сюда «Дивинацию...», — семь. По своему объему это самые большие речи Цицерона. Все вместе они являются образцовым произведением римского красноречия, утвердившим славу Цицерона как блестящего оратора, и представляют собой весьма ценный и разнообразный материал, освещающий различные стороны жизни

римской провинции — Сицилии. Каждая из них представляет своеобразный интерес для читателя в качестве источника для ознакомления или с римскими древностями, или с историей Сицилии, или с системой управления провинций.

Композиция речей против Верреса не всегда соответствует традиционной схеме построения судебных речей, рекомендованной античной риторикой, да и самим Цицероном. Цицерон варьирует эту схему в зависимости от содержания речей, считаясь прежде всего с обстоятельствами и характером самого дела. Каждая из речей, посвященная определенному виду преступлений Верреса, написана по тщательно продуманному плану, у каждой есть свое собственное композиционное решение.

Как уже было сказано, пять последних Веррин, т. е. речи для второй сессии, Цицероном произнесены не были. Он издал их позднее, после тщательной обработки, придав им определенную, в высшей степени художественную форму и отделку. Эти произнесенные речи выполнили между тем большую роль, чем произнесенные. Они явились своего рода литературно-политическими памфлетами, выполняющими соответствующие этому функции: публицистическую и художественную. С одной стороны, обличая Верреса и ему подобных провинциальных наместников, они были рассчитаны на определенный политический эффект (нельзя забывать, что в Риме последнего века республиканского красноречие играло роль большей и действительной общественной силы. См. Письма к Аттику, IV, 2), с другой — явились выдающимся образцом литературной речи.

Цицерон сам считал Веррины настоящими литературными произведениями и, придавая им большое значение, опирался на них в своей теории ораторского искусства. Искусно обработанные, все они отличаются стройной композицией, ритмичностью, необыкновенным изобилием фигурных выражений и отвечают всем требованиям античной риторики. Поэтому их неоднократно цитирует Цицерон в своих риторических сочинениях (см., например, «Оратор», 29, § 103; 50, § 167; 62, § 210).

Даже самое беглое сравнение речей, произнесенных и произнесенных, позволяет заметить, как заметно отличаются одни от других и по своей композиции и по своему стилю.

Если в речи Actio prima необходимой частью является *probatio*, так как Цицерону надо было убедить судей в самом факте преступления Верреса, то в речах Actio secunda *probatio* не является главной частью; ее почти нет, так как она органически растворена в изложении, перемежаясь с бытовыми картинками, историческими примерами и т. п. Если же *probatio* и есть в них, то она выполняет другую функцию, т. е. служит не доказательством факта преступления, а убеждением судей в преступности поведения Верреса.

Особенно это ощущается в четвертой и пятой книгах, где *probatio* опускается. Например, в пятой книге в *scipen navale* вместо приведения доказательств, Цицерон ограничивается краткими ссылками на доказательства, приведенные в первой сессии суда или в рассказе о казни римских граждан; Цицерон просто ссылается на широкую известность того, о чем он намерен говорить.

Естественно, после добровольного изгнания Верреса в убеждении судей не было надобности, тем более, что и свидетельские показания, доказывающие наличие преступления, были полностью заслушаны в первой сессии.

Речи для второй сессии носят чисто литературный характер. Главная их цель — *monere et delectare* (убеждать и услаждать), а *probatio* оказывается на втором плане. В этом их характерное отличие от речи *Actio prima* (речи чисто судебной). Именно эти пять речей против Верреса для второй сессии и дают все основания считать Цицерона создателем римской литературной речи.

После возвращения из родосской школы, занимавшей среднюю позицию между аттицизмом и азианизмом, Цицерон перешел к более умеренному пользованию риторическими средствами.

Наиболее характерные особенности языка Цицерона: обилие слов и выражений, живость и необыкновенная чистота речи в соединении с разнообразием стиля. Цицерон сам говорит о своем умении разнообразить стиль, делая его то простым и спокойным, то игривым, то украшенным и возвышенным, соответственно обстоятельствам: «...речь наша бывает то возвышенной, то скудной, то держится некоторого среднего пути; так характер ее следует избранной теме, видоизменяясь и преображаясь в связи с любой задачей, будь то очарование слуха или передача аффектов» («Об ораторе» III, 44, § 177; Ср. «Об ораторе» III, 10, § 37; III, 14, § 53).

О том, что Цицерон владел одновременно всеми тремя типами стиля, применяя тот или иной в зависимости от различных условий, красноречиво свидетельствуют речи для второй сессии.

В них налицо все три стиля. «Какой род не встречается в Верринах?» — спрашивает сам Цицерон в «Ораторе» (29, § 103).

Таким образом, его [речи] отличаются друг от друга не только содержанием, как указывалось ранее, но и формой, которую Цицерон тщательно обрабатывал. Например, две последних Веррины, т. е. *De signis* и *De suppliciis*, построены в более изысканном ораторском стиле, чем три первые, отличающиеся в основном, довольно простым стилем. В последних множество шуток, двусмысленных выражений и каламбуров, которыми Цицерон, зная вкус своих слушателей, охотно пользовался.

Употребление таких стилистических фигур, как паронимия (созвучие стоящих рядом, но различных по значению слов), также придает шуточный оттенок соответствующим местам этих речей. Сопоставление созвучных слов характерно и для последних двух речей и особенно эффектно в антитезах.

Часто встречается игра слов на имена собственные. Кроме примеров из *Actio secunda* (II, 6, § 18; II, 21, § 52) можно привести забавные каламбуры на двойное значение имени Верреса в II, 78, § 191, где за основу остроты берется значение имени Верреса как «кабан» (*verres*).

Каламбур с именем Верреса повторяется в разных вариантах: например в *Actio II*, (I, 46, § 121, ср. IV, 43, § 95 и IV, 25, § 57). Острота строится на двояком значении *ius verginum*: «Верресово право» и «свиной соус». Отсюда все намеки. Цицерон как будто оправдывается, говоря здесь о шутках такого рода, как *ius verginum*, что они известны всем, что это шутки народа<sup>50</sup>. В других местах каламбур основан на сходстве имени «Веррес» с «метлой» — *everriculum*: «*Quod unquam, iudices, huius modi everriculum in illa provincia fuit?*»

(«Видела ли когда-нибудь, судьи, какая-либо провинция такую метлу?» (*Actio II*, IV, 24, § 52).

Как уже отмечалось, рассказ в Верринах для второй сессии содержит в себе самое доказательство обвинения. Написанный наглядно и убедительно, он тем самым исключает всякое дополнительное доказательство. Цицерон умеет сделать занимательной и интересной повествовательную часть, разнообразя ее рядом художественных приемов, среди которых есть и бытовые зарисовки, и портрет, и диалог, и шутка. Во многих местах *narratio* (рассказ) прерывается небольшими отступлениями разного рода, которыми также пользуется Цицерон в своих целях. Иногда это рассуждения на политические темы, иногда похвала себе как оратору или общественному деятелю, иногда обращение к судьям, защитнику или богам, патетические восклицания и т. п. Иногда вводится риторический вопрос, содержащий какое-то утвердительное или отрицательное суждение самого Цицерона.

Хотя эти отступления и не имеют непосредственного отношения к делу Верреса, однако они позволяют Цицерону разнообразить и оживить речь с тем, чтобы не наскучить читателю. Часто в рассказ вставляется диалог, состоящий из коротких фраз, производящих впечатление естественной живой речи двух собеседников (*Actio II*, II, 29, § 72; III, 85, § 196—197; V, 42, § 110 и др.). Все эти приемы служили не только украшением рассказа, но в то же время и элементами *probatio*. Здесь

<sup>50</sup> Квинтилиан также оправдывает Цицерона, говоря, что он лишь воспроизводил шутки народа, («О воспитании оратора», VI, 3, § 4).

язык Цицерона близок к разговорному, в нем много особенностей этого стиля, например, слов сложных с *per* и *sub*, а также уменьшительных, которые в большинстве случаев подчеркивают что-либо забавное, сатирическое, достойное насмешки и презрения.

Обращаясь к разговорному языку, Цицерон тем самым придавал своей речи и своим доводам убедительность, подкрепленную то острым словом, то язвительной насмешкой.

Интересно, что даже в первых трех речах, несмотря на преобладание в них простого стиля, имеются совсем иные места: взять, например, начало второй речи, содержащее похвалу Сицилии, которое отличается умеренным, спокойным тоном, серьезностью и достоинством.

Или в третьей речи сухое течение рассказа о злоупотреблениях Верреса в хлебном деле неоднократно прерывают амплификации,— тогда тон оратора возвышается (*Actio* II, III, 89, § 207).

Разнообразие стиля речей особенно легко ощущается в книгах *De signis* (о предметах искусства) и *De suppliciis* (о казнях), которые несомненно, имеют все основания рассматриваться как лучшие образцы ораторского искусства. В этих двух речах есть все виды красноречия, и, очевидно, к ним более всего относятся слова Цицерона о Верринах («Оратор», 29, § 103). В *De signis*, например, совершенно разным стилем написаны: рассказ о приключениях Памфилы (*Actio* II, IV, 14, § 3); описание Сиракуз (*Actio* II, IV, 52, § 115—53; § 119); рассказ о кандалебре Антиоха (*Actio* II, IV, 30, § 67, IV, 32, § 71). В *De suppliciis* достаточно сравнить рассказ о пиратской войне (*Actio* II, V, 2, § 5; V, 3, § 7) с амплификацией (*Actio* II, V, 14, § 35—37) или с описанием казни Гавия (*Actio* II, V, 61, § 158; V, 67, § 173), чтобы ясно увидеть умение Цицерона легко переходить от простого разговорного тона к серьезному и возвышенному, и наоборот, в зависимости от требований обстоятельств дела.

Принципы построения речи бесконечно варьируются Цицероном в различных частях речи, однако основной закон выражен Цицероном так: «В каждой части речи так же, как и в жизни, надо всегда иметь в виду, что уместно» (*Semper in omni parte orationis ut vitae, quid deceat est considerandum* («Оратор» 21, § 71).

Таким образом, и в рассказе стиль Цицерона, обычно спокойный и ровный, иногда становится возбужденным и возвышенным (характерное место — казнь Гавия в V книге — V, 61—62). Пафос постоянно чередуется с шуткой. Цицерон, как известно, придавал большое значение комическому эффекту в речи, достигая его различными средствами и полагая, что **ВОЗ-**

буждением смеха он привлекает суд на свою сторону. Среди этих средств и изящная шутка, и забавный каламбур, и сатирическая зарисовка, и игривое словечко, употребленные всегда с большим умением и находчивостью. Здесь множество примеров игры слов, то красивой, то иронической. Ирония используется Цицероном настолько часто, что становится постоянной особенностью этих речей. Суровая и грубоватая, легкая и тонкая, она служит неизменным и любимым оружием Цицерона.

Отличительные стилевые черты Веррин: последовательность, логичность, живость изложенных в них мыслей. Благодаря неиссякаемой находчивости в придумывании оригинальных эффектов Цицерону удается в них подействовать на воображение читателя, особенно в двух последних книгах.

Форма речей отличается художественностью, стройной ритмичностью и необыкновенным богатством фигурных выражений, которые, как правило, подчеркивают самую мысль.

Не приходится говорить о таких достоинствах этих речей, как удивительная гибкость и музыкальность. Ритм речи, являясь средством лучшего выражения мысли, подчеркивал ее взволнованность, ее величие, или ее простоту. Римляне очень тонко чувствовали музыкальность речи, поэтому, владея ритмом, Цицерон располагал к себе слушателей и тем самым убеждал их.

Соблюдение определенного ритма придавало речи плавность и гибкость. Цицерон удачно употреблял метр, отвечающий содержанию мысли: медленный и спокойный во вступлении или описании (например, в описании Сиракуз *Actio* II, IV, 52, § 117) наоборот, живой, часто взволнованный с энергичными антитезами и ассонансом в патетических частях, в инвективах, в заключении (*Actio* II, V, 16, § 41; V, 66, § 170), когда Цицерон особенно стремился тронуть судей и слушателей.

Недаром к отличительным особенностям его ораторского таланта Квинтилиан относит умение повлиять на чувства слушателей, взволновать их трогательным изложением дела:

«И действительно, кто может точнее изложить дело? Кто тронет так сильно? Кто обладал таким сладкоречием? Он вынуждает, а тебе кажется, просит: судью увлекает силою, а ему мнится, что добровольно за ним следует. Обо всем говорит с такой важностью, что быть противного с ним мнения за стыд считаешь: видишь в нем не заботливость защитника, а бесподобную откровенность свидетеля и судьи. Все, что другому стоило бы величайшего усилия, у него течет само собой: и чем прекраснее речь, тем виднее легкость и гибкость ума его.

Почему современники его не без основания говорили, что он царствовал в судах: у потомков же достиг той славы, что имя Цицерона уже не человека, а самое Красноречие означать

стало» (Квинтилиан, «О воспитании оратора», X, 1, § 110. Перевод А. Никольского).

Важно отметить, что все средства художественной выразительности подчинены у Цицерона единой мысли — изобличению Верреса перед судом и слушателями.

Речи против Верреса раскрывают перед читателем яркую картину страданий народа провинции Сицилии под властью жестокого, алчного наместника. На примере Сицилии речи эти дают возможность представить положение и других провинций, управляемых представителями власти, подобных Верресу. Произвол, бесхозяйственность, жадность и жестокость, вероломство — вот характерные признаки такого управления. Очевидно, магистратов, подобных Верресу, было не мало в других провинциях, ведь недаром Цицерон говорит об этом: «Сколько лиц оказывалось виновными в Азии, сколько в Африке, сколько в Испании, Галлии, Сардинии, сколько в самой Сицилии» (*Actio II, II, 15, § 158*).

Веррины отражают историческую обстановку в Риме второй половины I в. до н. э.: борьбу сословий, эксплуатацию провинций и т. д. Положение в Риме этого времени было весьма напряженным. Борьба между нобилитетом и всадническим сословием, обострившаяся еще при Сулле, продолжалась и после его смерти. Ни народные собрания, ни трибуны не играли прежней роли, хотя законы Суллы были уже отменены.

Привилегированные слои населения, заинтересованные в эксплуатации провинций, выжимали из них деньги путем различных вымогательств, вкладывая средства в доходные операции, в частности в откупные комиссии.

«Уже начиная с последних времен республики, римское владычество основывалось<sup>51</sup> на беспощадной эксплуатации завоеванных провинций...»

Управление провинциями давало возможность легко обогатиться и употребить эти средства на подкупы избирателей в Риме. Если же провинциалы осмеливались подавать жалобы на непомерные вымогательства сенаторов, то результат этого обычно был небольшим, так как в судах сидела все та же сенаторская знать, отличавшаяся в большинстве своем развращенностью, продажностью и политической беспринципностью. Всяду царили подкупы и клевета.

Речи Цицерона против Верреса, отражающие подлинную жизнь в мастерски нарисованных картинах, являются первоклассным источником изучения эпохи падения республики.

Поэтому и представляют собой такой исключительный интерес знаменитые Веррины.

<sup>51</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные произведения в двух томах, т. II, М., 1952, стр. 283.

*И. П. Стрельникова*

## НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРАТОРСКОЙ МАНЕРЫ И СТИЛЯ ЦИЦЕРОНА

(по Катилинариям)

I

Катилинарии — одни из самых замечательных и наиболее популярных речей Цицерона, особенно любимых самим оратором, так как события, связанные с заговором Катилины, в которых Цицерон сыграл немаловажную роль, были гордостью всей его жизни, триумфом его, в целом неудачной политической карьеры. Речи, вызванные этими событиями, даже в переработанном для издания виде, сохраняют черты того искреннего волнения, с которым они произносились оратором, увлеченным своей ролью «спасителя отечества». Впоследствии Цицерон сильно переоценивал как значение самих событий, которые он считал великим актом всей римской истории, так и свое участие в них.

Тем не менее заговор Катилины в Риме — яркий факт римской истории последних десятилетий республики, о котором до нас дошло довольно много сведений (Цицерон, Саллюстий, Плутарх, Аппиан Александрийский, Дион Кассий и др.). Эти сведения о заговоре разноречивы, как разноречивы и многочисленные позднейшие исследования на эту тему и, несмотря на огромный интерес, который заговор вызывал у различных исследователей на протяжении многих веков, его цели и задачи, роли Катилины и Цицерона до сих пор еще не могут считаться окончательно выясненными.

Большинство исследователей<sup>52</sup> правильно считает Катилину политическим авантюристом, стремящимся к власти, преследующим личные корыстные цели. В этой связи Цицерон выступает защитником уже сильно пошатнувшихся устоев древней

<sup>52</sup> Например, Т. Моммзен, Г. Буассье, Л. Лоран, Ф. Ф. Зелинский, Н. А. Машкин.

римской республики, сторонником пресловутого «согласия всех благонамеренных людей» (*consensus bonorum omnium*).

Представитель морально разложившейся и промотавшейся римской знати, бывший сулланец, запятнавший себя во время проскрипций, прославившийся грабежом в провинциях, по свидетельству некоторых источников преступник в своей частной жизни<sup>53</sup>, Луций Сергий Каталина вряд ли мог иметь какую-либо ясную положительную политическую программу и честно искать выхода из тупика, куда зашла экономически и политически обанкротившаяся республика. Большое число сторонников обеспечил Каталине его главный лозунг — кассация долгов (*tabulae novae*), который собрал под его знамена самые разнообразные элементы обескровленной и обнищавшей в гражданских смутах республики. Сочувствие среди различных слоев римского общества вызвала и ненависть Катилины к сенату, уже давно лишившемуся своего бывшего величия.

В демократических лозунгах Катилины было много общего с лозунгами партии популяров, а следовательно, Цезаря, влияние которого на политическую жизнь республики в это время ужасно явно ощущалось. Не без основания историки полагают<sup>54</sup>, опираясь на свидетельства античных авторов (Аскония Педиана, Кассия Диона и др.), что за спиной Катилины стояли такие могущественные люди, как Цезарь и Красс.

Острые заговора было направлено против Цицерона, как консула, счастливого соперника Катилины в выборах на 63 год, помешавшего Каталине быть выбранным на 62 год, и против оптиматов, стоявших у власти.

Цицерон, всю жизнь тщетно ратовавший за согласие сословий, решительно становится на сторону оптиматов, защищая жизнь и интересы правящей партии и свои собственные, стараясь предотвратить новую вспышку междоусобных смут и сохранить хотя бы иллюзию мира и тишины, которые он демагогически обещал народу в свое консульство («Речи об аграрном законе», I, 8, § 24).

Будучи в общем недалеким политиком, Цицерон неожиданно проявил во время заговора такую находчивость, что заслужил от сената редко присуждаемое им почетное звание *pater patriae* («отца отечества»). Его речи против Каталины, особенно первая, и результаты, ими достигнутые — прекрасное доказательство действенной силы римского красноречия времени республики.

<sup>53</sup> См. Аппиан Александрийский. *Гражданские войны*, 2, 2, 4; Плутарх. *Цицерон*, 10, 2 — в кн. Саллюстия «О заговоре Катилины». М.—Л., 1934.

<sup>54</sup> Например, Т. Моммзен. «История Рима», т. 3, Госполитиздат, 1941, стр. 156—157; Машкин Н. А. «История Рима», Госполитиздат, 1940, стр. 320 и др.

Обстановка в стране ко времени произнесения первой речи, т. е. в конце октября — начале ноября 63 г. н. э. была чрезвычайно напряженной. После трех неудачных попыток Катилины добиться консульства на 65, 63 и 62 год официально и с помощью различных происков он решает действовать открыто насильственным путем. К этому времени его сторонники в Риме и за его пределами уже составляли огромное число. В Этрурии его ждало войско под руководством Г. Манлия, которое вскоре после неудачных для Катилины консульских выборов подняло восстание. В Капуе и Апулии взволновались рабы. В Риме ждали избиения оптиматов, пожаров и всяческих бедствий. Многие сенаторы в панике покинули Рим. Заговор уже не был тайной. Цицерон же через своих агентов знал о каждом шаге, предпринятом заговорщиками. Он даже предварительно добился у сената чрезвычайных полномочий (*senatusconsultum ultimum*). Однако действовать против заговорщиков открыто и решительно медлил, так как у Катилины было много сторонников среди самых могущественных сенаторов и, кроме того, нужны были прямые улики для его открытого обвинения.

Наконец, получив известие о собрании заговорщиков у Марка Леки, где они окончательно решили двинуть войско на Рим и жестоко расправиться с противниками, Цицерон отважился действовать. Восьмого ноября на заседании сената в присутствии Катилины он произнес свою знаменитую первую Катилинарию, которую даже недоброжелательно настроенный к Цицерону Саллюстий назвал «блестящей и полезной для государства речью» («Заговор Каталины», 34, § 6).

Возмущенный дерзостью Катилины, осмелившегося, явиться на это заседание, Цицерон произнес свою 1-ю речь, как можно полагать, экспромтом. Тем сильнее она должна была подействовать на присутствующих. Цицерон хотел во что бы то ни стало заставить Каталину по собственной воле покинуть Рим, что сделало бы для всех несомненным существование заговора и убедило бы насмерть перепуганных слухами сенаторов в необходимости решительных мер против заговорщиков. Заставить Каталину уйти из города, не применив для этого никаких официальных мер, Цицерон мог лишь доказав ему, что знает всё о, его преступных по отношению к республике действиях и планах и что дальнейшее пребывание в городе для главного заговорщика небезопасно. Цицерон блестяще выполнил эту задачу, умело используя и увещания и угрозы. Он уверил Каталину в том, что для него самого лучше скорее уйти из города в лагерь к Манлию, что тот уже давно намеревался сделать, так как возлагал основную надежду на войско. Кроме того, Цицерон дал понять, что он, как консул, к тому же облеченный

чрезвычайными полномочиями, в любую минуту может применить к нему насилие.

Перед нерешительным и бездействующим сенатом «высочка» (*homo novus*) Цицерон, проявив немалую смелость, изобразил представителя старинного патрицианского рода Луция Сергия Катилину, и до того прославившегося разного рода позорными делами, опасным и коварным врагом государства.

Ссылаясь на примеры из жизни предков, Цицерон убедил сенат в том, что Катилина заслуживает самого жестокого наказания, которое он, как консул, не замедлит применить к нему, но сделает это лишь тогда, когда не останется уже ни одного сомневающегося в виновности Катилины. Виновность же его станет для всех очевидной, когда Катилина покинет город, чтобы вести открытую войну. В заключении своей речи Цицерон заверил сенат, что заговор будет подавлен и враги отечества понесут вечную кару за свои злодеяния.

Блестящая речь Цицерона произвела нужное впечатление на присутствующих сенаторов. Катилина, по рассказу Саллюстия («Заговор Катилины» 31, § 8), упорный в своем притворстве, попытался сыграть на сословных предубеждениях сенаторов, заверяя их в том, что невозможно думать, чтобы он, патриций, представитель древнего рода, строил козни родному городу, а какой-то провинциал, пришелец (*inquinus*) вызывался быть его спасителем. Однако сенаторы, возбужденные цicerоновской речью, не поверили ему и назвали его врагом отечества. Тогда Катилина ушел из города в лагерь к Манлию, сделав вид, что отправляется в изгнание.

Уход Катилины, подтвердивший слова Цицерона о существовании заговора в республике, еще больше усилил страх и смятение, царившие в Риме. Чтобы оправдать свой образ действий и успокоить не на шутку встревоженных римлян, Цицерон на следующий же день после ухода Катилины выступил перед народом со своей второй речью.

Катилина, уходя, сделал вид, что отправляется не в лагерь к Манлию, как это утверждал Цицерон, а в изгнание в Массилию. Поэтому на Цицерона, с одной стороны, посыпались упреки в жестокости по отношению к якобы невинному Каталине, с другой стороны, граждане, уверенные в справедливости цicerоновских обвинений, порицали консула за то, что он выпустил из города такого опасного врага живым и невредимым.

В начале своей 2-й речи против Катилины Цицерон прежде всего объявил гражданам о радостном событии — уходе Катилины из Рима: значит, он уже не сможет тайно вредить внутри самого города. Затем он объяснил, почему он выпустил Катилину, не тронув его: заговор еще не был явным, были люди, которые не хотели верить в его очевидность, кроме того,

лучше бороться с открытым врагом вне стен города, чем внутри его. Да и казнь одного Катилины заговор не был бы полностью ликвидирован, у него есть сообщники в Риме, которых после этого было бы трудно выявить и наказать.

К гражданам, жалеющим изгнанного заговорщика, Цицерон обратил полные иронии слова о «робком» и «застенчивом» Каталине, начавшем преступную войну против республики, и «жестоком» консуле, одно слово которого выбрасывает людей в изгнание.

Чтобы успокоить сограждан, взволнованных слухами о событиях, Цицерон в этой речи дает характеристику сторонников Катилины, разделив их на 6 разрядов, начиная от промотавших свое состояние ветеранов Суллы и кончая напомаженными столичными мотами. Он рисует их со скептической улыбкой человека, уверенного в своей силе и правоте, который вынужден воювать с армией павших и слабых людей.

Характеризуя заговорщиков и доказывая материальное и духовное превосходство над ними благонамеренных граждан, Цицерон достигал сразу несколько целей: поднимал дух граждан и вселял в них веру в победу над заговором, которой, может быть, сам тогда не имел; перед друзьями и перед врагами демонстрировал, не без доли хвастовства, свою осведомленность в деле, показывая, что консул не дремлет; пытался деморализовать заговорщиков иронически-презрительным отношением к ним и прямыми угрозами. Цицерон закончил речь заверениями граждан в том, что он, одетый в мирную тогу, начальник и полководец, с помощью богов сделает всё, чтобы без шума и крови прекратить эту начатую Каталиной междоусобную войну.

Со времени произнесения Цицероном второй речи против Каталины (9 ноября) до того, как он выступил с 3-й речью, проходит около трех недель. За это время Катилина, вставший во главе войска и незаконно присвоивший себе знаки консульского отличия, был официально объявлен врагом отечества. Консулы собирали войско, командовать которым был назначен Антоний. За безопасность в Риме отвечал Цицерон. Заговорщикам была обещана амнистия, если они сложат оружие. Однако, как в Риме, так и в провинциях, они продолжали накапливать силы и вооружаться. Заговорщики в Риме уже назначили день для резни и пожаров. Они даже договорились о поддержке с послами галльского племени аллоброгов, явившимися в Рим с жалобой на римское наместничество, пообещав исполнить их просьбы. Но аллоброги, испугавшись, выдали главарей заговорщиков Цицерону, и тот, воспользовавшись удачным случаем, арестовал их.

После этого консул созвал сенат, где заговорщики под тяжестью улик сознались в своих действиях против республики.

Сразу же после окончания этого заседания сената, Цицерон перед собравшимся народом произнес свою третью речь против Катилины, которая произвела огромное впечатление на плебс и склонила его, сочувствовавшего ранее Катилине, на сторону Цицерона.

Во вступлении к речи Цицерон радостно и торжественно объявляет народу о том, что заговор раскрыт и республика и жизнь граждан спасены благодаря бессмертным богам и его стараниям.

Чтобы поднять значение победы над заговорщиками в Риме и подчеркнуть свои заслуги в этом деле, Цицерон очень выразительно и не без преувеличения говорит о той страшной опасности, которой подвергалась республика и граждане в связи с заговором. Затем, опять-таки не забывая все время указывать на свою благородную роль во всем происходящем, он рассказывает о событиях в Риме со дня ухода Катилины; о своем постоянном бдении, о деле с аллоброгами, о допросе пойманных заговорщиков, не раз упомянув о грандиозности их преступных замыслов, например, о намечавшемся поджоге города и т. п. Он не забывает сообщить гражданам и о постановлении сената, в котором воздается хвала консулу и преторам, поймавшим аллоброгов, и о назначенном в его честь благодарственным молебствии — исключительном случае со времени основания Рима. Как бы оправдываясь от возможных упреков в том, что главного врага, Катилину, он выпустил из города живым, Цицерон говорит, что заговор не был бы так быстро и безопасно для города и граждан раскрыт, если бы Катилина остался в Риме. В победе же над Катилиной и его войском в открытом сражении Цицерон не сомневался.

Как ни много значения придавал Цицерон своей собственной деятельности против заговора, однако он отмечает, что взял бы на себя слишком много, если бы думал, что здесь обошлось без вмешательства богов, чему в речи уделено не мало места. Трудно сказать, искренно ли сам Цицерон верил в то, что он говорил о помощи богов. Скорее всего, это была дань традиции, рассчитанная на определенное выгодное для оратора впечатление на аудиторию: по словам Буассье<sup>55</sup>, народ не был бы уверен в серьезности заговора, если бы думал, что боги им не интересуются. В заключении Цицерон вновь указывает на свою заслугу, которую он видит, главным образом, в том, что спас город и граждан от жестокой гибели без кровопролития, тогда как все гражданские раздоры до него совершались с жертвами. В самоупоении консул даже сравнивает себя с Помпеем, в это время победоносно воевавшим на Востоке. За свои подвиги он

55 G. Boissier. *La Conjuration de Catilina*, Paris, 1905, p. 204.

не требует ни памятников, ни знаков отличия — он просит граждан лишь помнить о том, что он для них сделал и защитить его, если это понадобится.

Речь Цицерона имела то действие, что «плебеи», — как пишет Саллюстий, — которые сначала вследствие своей склонности к государственным переворотам относились к войне весьма сочувственно, после раскрытия заговора переменили свое мнение и, осыпая проклятиями замыслы Катилины, стали до небес превозносить Цицерона («Заговор Катилины», 48).

Через день, 5 декабря, в храме Согласия было созвано еще одно заседание сената, на котором решался вопрос о наказании арестованных заговорщиков. Мнения сенаторов на этом заседании разошлись. Выбранный консулом на следующий 62 год Д. Юний Силан высказался за то, чтобы подвергнуть заговорщиков смертной казни, хотя один сенат, согласно римским законам, не имел права выносить такое решение<sup>56</sup>. Силану возразил Юлий Цезарь, выбранный на следующий год претором. Цезарь предложил пожизненное заключение и конфискацию имущества, с отказом арестованным в дальнейшем добиваться смягчения наказания.

В речи Цезаря, которая дошла до нас в передаче Саллюстия («Заговор Катилины», 51), прозвучали предостережение и даже угрозы в адрес Цицерона. Он прежде всего потребовал соблюдения законности и рекомендовал сенаторам постараться быть объективными вне зависимости от своих чувств. Цезарь согласился с Силаном, что по достоинству это преступление стоит наказания смертной казнью, но он указал также на незаконность такого наказания и на то, что люди будут помнить не о преступлениях заговорщиков, а о том, как их наказали. Он подчеркнул, что с течением времени это справедливое наказание обратится против применивших его. Кроме того, он выдвинул в пользу своего предложения еще и философское соображение о том, что смерть — это не наказание, а, скорее, отдохновение.

Трудно сказать точно, какие причины определяли поведение Цезаря в этот момент. Однако вряд ли им руководили чисто благородные побуждения и верность республиканским принципам, как это представляет нам Саллюстий («Заговор Катилины», 49—51), а вслед за ним Г. Буассье<sup>57</sup> и др. Скорее всего, защита Цезарем заговорщиков объясняется его причастностью к заговору.

56 По Семпронию закону, учрежденному Гаем Гракхом, решение о смертной казни римского гражданина допускалось лишь в случае одобрения его народным собранием. До вынесения приговора римский гражданин имел право добровольно удалиться в изгнание.

57 G. Boissier. *La Conjuration de Catilina*, p. 211.

Речь Цезаря сильно подействовала на присутствующих и завоевала себе много сторонников, однако выступившие после него Цицерон и особенно Марк Порций Катон склонили сенат на свою сторону.

Поскольку предостережения и угрозы Цезаря относились главным образом к нему, Цицерон в начале своей 4-й Катилинарии в выпретенных выражениях и но без тени горькой иронии благодарит сенат за оказанное ему внимание и заботу, и советует гражданам больше думать не о нем, который за все время своего консульства ни минуты не был свободен от смертельной опасности, а о благе своем и республике. Он подчеркнул при этом, что, пока живы заговорщики, опасность не миновала.

Цицерон знал, что самое главное — это как можно скорее решить судьбу арестованных, покончить с заговором в Риме, и очень возможно, что в ту минуту он, человек вообще не очень храбрый, действительно мало думал о последствиях применения казни, могущих быть и действительно оказавшихся для него трагическими. Как консул, докладывающий дело, он не мог прямо высказать свое мнение, и в своей речи он лишь разбирает и сравнивает мнения Силана и Цезаря, по делает это так, что его позиция становится совершенно ясной: Силан исходит из вопросов жизни и смерти, вопросов чести римской республики, — Цезарь же — из философских соображений о том, является смерть наказанием или нет. К тому же милосердное на первый взгляд предложение Цезаря в действительности оказывается более суровым, чем предложение Силана: жестоко лишить арестованных свободы, имущества, даже возможности просить о снисхождении, оставив им только жизнь, но жизнь, полную мучений. С этой точки зрения, лишить их жизни будет гораздо милосерднее.

Кроме того, предложение Цезаря о распределении преступников по муниципиям — в высшей степени неудобное и обременительное предложение для муниципий.

Цицерон, при всей его явной необъективности в этом вопросе, все-таки пытается создать видимость беспристрастия, поэтому далее в 4-й речи он расшаркивается перед Цезарем, отдает должное заслугам его и его предков, отмечая при этом выгодность мнения Цезаря лично для себя. Касаясь Семрониева закона относительно казни римских граждан, Цицерон приводит свое любимое мнение о том, что не может считаться римским гражданином тот, кто совершил преступление против республики. Об этом он говорил и в первой речи против Катилины (I, 11, § 28). Здесь же, в 4-й речи, он рисует страшную картину разрушения города, груды непогребенных тел, плач детей и матерей, оскорбление весталок и спрашивает, можно ли быть жестоким по отношению к людям, замышляющим подобное преступление.

Затем Цицерон говорит, что в государстве есть все средства для приведения приговора в исполнение, нужно только решить, учитывая, что решение участи заговорщиков — это решение о жизни и смерти римского государства и всех граждан.

В заключение речи оратор, указав на свои заслуги и на опасность, угрожающую ему вследствие его деятельности, убедительно просит сенаторов сохранить добрую память о нем и не забывать его сына.

Речь Цицерона, а также суровая речь Катона возымели действие, и сенаторы проголосовали за смертную казнь. В этот же день решение сената, без представления, согласно закону, на одобрение народа, было приведено в исполнение.

Моммзен, критически относящийся к политическому и даже ораторскому таланту Цицерона, охарактеризовал это событие как «акт самой грубой тирании», который «был совершен самым невыдержанным и боязливым из всех римских государственных деятелей»<sup>58</sup>. Именно так этот факт был расценен в Риме через несколько лет после заговора. В 58 г. враг Цицерона, народный трибун Публий Клодий, не без одобрения Цезаря, издал закон, по которому тот, кто казнил без суда римского гражданина, подвергался изгнанию. Сразу после издания этого закона, не дожидаясь специального решения о себе, Цицерон добровольно покинул Рим.

## II

Речи, которые мы имеем, не являются в точности теми речами, которые Цицерон произнес в ноябре-декабре 63 г. По обычаю того времени речи сначала произносились, а потом уже записывались и издавались. Принято считать, что Катилинарии были изданы только через три года после их произнесения. Единственный текст, на который ссылаются, чтобы подтвердить это предположение — письмо Цицерона к Аттику (II, 1).

В этом письме, относящемся к 60 г. до н. э., Цицерон пишет Аттику, что ему было выгодно позаботиться о том, чтобы у него «были речи, которые назывались бы консульскими». В общем порядке 13 речей, включенных в этот сборник и перечисленных Цицероном в этом письме, Катилинарии нумеруются как 7, 8, 9 и 10-я. Вот как сам Цицерон назвал эти четыре речи: «седьмая, — когда я изгнал Каталину; восьмая, с которой я обратился к народу на другой день после бегства Катилины; девятая — на народной сходке в тот день, когда аллоброги разгласили; десятая — в сенате в декабрьские ноны;...»<sup>59</sup>.

<sup>58</sup> Т. Моммзен. История Рима, т. 3, стр. 154.

<sup>59</sup> Письма Марка Туллия Цицерона, Изд-во АН СССР, М.-Л., 1951, Перевод В. Горенштейна.

Полагают<sup>60</sup>, что Цицерон изменил свои речи перед их публикацией очень немного — таков был его обычай. И эти изменения, скорее всего, касались формы, а не существа речи. Например, в изданной 1-й речи сохранились даже черты спора — altercatio между оратором и Катилиной, следы того, что они перебрасывались вопросами и ответами во время речи (главы 5, 6, 7, 8). Видимо, оратор старался как можно точнее воспроизвести первоначальную речь, не отдаляясь от нее без особой на то необходимости.

Существует также мнение<sup>61</sup>, что в записанной 1-й речи Цицерон слил две, произнесенные в один я тот же день в сенате: свой официальный доклад как председателя (relatio) и инвективу, произнесенную после требования Катилины «refer ad senatum» («доложи сенату»).

Никаких определенных доказательств в пользу этого мнения нет, и нам оно кажется маловероятным.

Наибольшим изменениям при подготовке к изданию подверглась, видимо, 4-я речь. Ко времени издания речей, к 60-му г. до н. э., в сложившейся неблагоприятно для Цицерона обстановке (в связи с возросшим влиянием Цезаря и популяров) он должен был особенно внимательно отнестись к своей 4-й речи, посвященной теме наказания участников заговора Катилины.

О тщательной работе над речью говорит ее особая отделанность с риторической и стилистической стороны даже по сравнению с другими речами против Катилины. Величина речи наводит на мысль о внесенных позднее дополнениях. Вряд ли в тот напряженный момент в сенате, когда решалась участь арестованных и происходил обмен мнениями, Цицерон произнес такую длинную речь, какой она дошла до нас. В действительности это было, вероятно, небольшое выступление, вызванное тем, что в речах сенаторов и, особенно, в речи Цезаря прозвучали предостережения в адрес Цицерона. Невозможно точно определить, что именно добавил к своей речи Цицерон, готовя ее к изданию. Лоран<sup>62</sup>, например, предполагает, что вставленными позднее являются те части речи, где оратор говорит о грозящей ему в будущем ненависти и опасности: IV, 10, § 20; IV, 10, § 22; IV, II, § 23. Например, в § 20, как бы предчувствуя свою печальную судьбу, Цицерон говорит о многочисленных врагах, которых он нажил себе на службе отечеству и которые в один прекрасный день сумеют заставить замолчать авторитетный голос сената и государства. Но, как утверждает Цицерон, он все равно не раскаивается в своих поступках. Он счастлив тем

<sup>60</sup> Например, Г. Буассье, Л. Лоран и др.

<sup>61</sup> См. L. Laurand. *Études sur le style des discours de Cicéron*. Paris, 1907, р. 7.

<sup>62</sup> Там же.

исключительным признанием заслуг при жизни, которого не получал никто.

В § 22 содержатся рассуждения о том, что положение победителя врагов внутренних гораздо тяжелее, чем положение победителя врагов внешних. Цицерон говорит, что он не закрывает глаза на то, что ему предстоит вечная война с внутренними врагами, но он надеется с помощью сената отразить их натиск. Затем он призывает крепить союз сената и всадников. Здесь Цицерон повторяет мысли начала § 27 гл. 12, 3-й речи.

Эти параграфы естественно входят в речь, не нарушая ее гармонии. Однако вполне возможно, что они тем не менее — позднейшее добавление к речи. В них упорно звучит основная мысль — мысль о близкой расплате, которую предчувствует и которой боится Цицерон, несмотря на его кажущийся бодрый тон. Отсюда рассуждения о многочисленных врагах, о вечной борьбе с ними, настойчивое упоминание заслуг, просьба о помощи и забота о сыне. В самый момент произнесения речи главной целью Цицерона было все-таки заставить сенат принять решение о смертной казни, а вопрос о последствиях был для него тогда вопросом второстепенным. Он вполне, на наш взгляд, искренне призывает сенаторов, например, в 1 и 5 гл. 4-й речи не думать о них, тогда как упомянутые выше параграфы 20 и 22 написаны с ясным предчувствием близкой беды, которую оратор ощущает уже совершенно реально. Недаром он напоминает о своих заслугах, пытается защищаться и вызвать к себе участие. Это очень характерно для Цицерона в годы после его консульства вплоть до самого изгнания, когда враги окончательно взяли над ним верх.

Возможно, что 4-я речь содержит еще какие-либо позднейшие добавления, однако, несмотря на это, она, как и остальные три речи Катилины, которые мы имеем, близка к произнесенной: Цицерон, храня любовную память о днях своего консульства, конечно, постарался воспроизвести их как можно точнее, прибегнув к помощи стенографических записей, которые велись в сенате во время заседаний, и своей хорошей памяти.

Четыре речи, посвященные заговору Катилины, излагающие ход событий в хронологическом порядке по мере раскрытия заговора тематически составляют как бы единое целое, состоящее из четырех частей. Помимо темы, речи объединяет личность самого оратора, настроение которого от первой до четвертой речи по мере развития событий претерпевает известную эволюцию: от некоторой неуверенности в себе в 1-й речи до совершенного самоуспоения в 3-й и опять к неуверенности и беспокорству в 4-й. В речах, кроме того, много общих мыслей, характеристик, повторений, их объединяют также известная стилистическая общность и сходство риторических приемов.

Но наряду со сходством каждую из этих речей отличает и неповторимое своеобразие, которое даже заставляло некоторых ученых усомниться в их подлинности. Сомнениям в подлинности подвергались особенно 2-я и 3-я речь, отличающиеся по своему стилю от несомненно Цицероновской 1-й Катилинарии. Известный издатель Цицерона Орелли считал подложными все три последние речи. Сомнения в подлинности основывались на исторических и филологических неправильностях, имеющих в этих речах. Исторические неточности никак не могут служить поводом оспаривать принадлежность речей Цицерону. Верно, что Цицерон считал обязательным для оратора знание родной истории и сам знал ее, по-видимому, не плохо. Но при этом он вполне мог в пылу ораторского вдохновения или даже сознательно допустить какие-либо ошибки или неточности. Ведь он был оратором, а не историком, и оратором республиканской эпохи, для которого говорить, значило действовать, ближайшая цель которого — убедить слушателя, победить в деле; эта цель оправдывала и подчиняла себе все. Недаром историки (напр., Друман) совершенно справедливо упрекали его в том, что история у него — служанка риторике.

Сомнения в подлинности 2-й и 3-й речи, основывающиеся на том, что стиль и фразеология этих речей отличаются от обычной Цицероновской, в частности, от стиля 1-й Катилинарии, тоже несостоятельны.

Цицерон придавал огромное значение ораторскому такту, принципу уместности — говорить в согласии и соответствии с предметом обсуждения. «Оратор должен следить,— говорил он,— чтобы не только в целых фразах, но и в отдельных словах соблюдалось именно то, что уместно. Например, неуместно, если ты выступаешь перед судьей по делу о водосточных трубах, говорить пышными словами и использовать общие места, а о величии римского народа говорить скупое и сухо» («Оратор», 21, § 72)

Цицерон был прекрасный стилист и великолепный оратор, который тонко чувствовал аудиторию, умел примениться к любым обстоятельствам и любой обстановке, используя ее в своих целях. Поэтому естественно, что речи 1-я и 4-я, произнесенные в сенате, перед самой образованной аудиторией — аристократией — были сказаны и затем записаны иначе, чем 2-я и 3-я, произнесенные перед толпой народа. Более того, в свою очередь

<sup>63</sup> Выдержки из риторических трактатов Цицерона даны в переводе Г.А. Иваницкой, содержащиеся в его актовой речи, произнесенной 12 янв. 1878 г. в Московском Университете: «Взгляд Цицерона на современное ему изучение красноречия в Риме в связи с его собственным образованием» («Отчет Императорского Московского университета за 1878 год», М., 1878.

существенно отличаются друг от друга и речи, близкие между собой по стилю, как 1-я и 4-я, так и 2-я и 3-я, произнесенные в разной обстановке и по разному поводу.

### III

Цицерон высоко ценил в речи ее внешнюю красоту, достигаемую умелым применением риторических фигур, удачным сочетанием звуков и ритмическим построением речи. Однако никогда применение фигур не было у него самоцелью. Фигуры, по его мнению, должны лишь помогать оратору лучше выразить основное в речи, ее смысл, содержание. «Безумие стараться говорить изящно, когда в речи нет содержания, нет мысли» («Об ораторе», I, 6, § 20), ибо именно из самого содержания должен развиваться блеск и обилие выражения. Кроме того, чтобы добиться главной цели — убедить слушателя, недостаточно насытить речь содержанием, построить ее логично, красиво и ритмично, нужно еще воспламенить слушателя. Цицерона нельзя упрекнуть в недостатке пафоса, он особенно хорош именно в патетических местах. Доказательством может служить 1-я речь против Катилины, являющаяся замечательным образцом Цицероновской патетической речи.

Цицерону неоднократно предъявляли обвинения в ложном пафосе. Может быть, это справедливо в отношении его судебных речей, где оратор редко выражал свои собственные взгляды, выполняя взятое на себя поручение, а бурная эпоха, страстность толпы требовала от него пафоса, страсти. Однако этот упрек совершенно исключается по отношению к его политическим речам против Катилины. Здесь Цицерон, увлекшись ролью спасителя отечества, был совершенно искренен в своем пафосе.

Цицерон, обладающий исключительным ораторским тактом, мастерски использовал огромный арсенал разнообразных риторических средств. Не только каждая речь в зависимости от ее темы, аудитории, обстоятельств произнесения, но и каждая часть речи (вступление, тема или рассказ, заключение) требовала определенных, соответствующих ее характеру риторических приемов, и Цицерон умело следовал установленным правилам, а там, где это было нужно, тактично отступал от них. Это можно видеть даже при беглом взгляде на Катилинарию.

В отличие от судебной речи, делящейся на большое количество частей (exordium — вступление, narratio — рассказ, confirmatio — утверждение, confutatio — опровержение, peroratio — заключение), в политической речи обычно различают только три основные части: exordium — вступление, narratio — рассказ и peroratio — заключение.

Вступление, по теории Цицерона, должно быть скорее спокойным, чем патетическим, но блестяще отделанным. Спокойствие оратора должно с первых же слов внушить слушателям уверенность в его правоте, а тщательная отделка речи — пленив слушателей с самого ее начала. Стиль не должен быть ни слишком простым, для которого характерна шутка, употребление элементов разговорного языка, ни слишком высоким с присутствием таких фигур, как олицетворение, восклицание, а умеренным. Вступление к первой речи против Катилины является по стилю исключением из цicerоновских правил для вступления. Оно отличается необычайной патетикой, употреблением всех тех риторических фигур, которые свойственны высокому стилю, и начинается прямо с обращения: «Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? «(Когда же, наконец, Каталина, перестанешь ты злоупотреблять нашим долготерпением?..)»<sup>64</sup>.

Цицерон лишь два раза начинал свои речи с обращения — 1-ю речь против Катилины и речь против Ватиния, которые представляли собой инвективы.

Не всякую речь, особенно судебную защитительную, уместно было начать таким страстным обращением, каким начал Цицерон первую Катилинарию; но в данном случае важность темы и сложность обстоятельств вполне оправдывали такое отступление от обычных правил.

Вступление к первой речи против Катилины распадается как бы на три части: патетическое начало, более умеренная середина и опять патетический конец.

Оратор начинает речь взволнованным и страстным обращением к Катилине: «Когда же, наконец, Каталина, перестанешь ты злоупотреблять нашим долготерпением? Когда же прекратится оскорбительная безнаказанность твоих безумных происков? Когда положишь ты предел своей необузданной, надменной отваге?» («Речи против Катилины», I, 1, § 1)<sup>64</sup>.

Обрушив на Каталину град вопросов, Цицерон восклицает с негодованием: «О, времена, о, правы! Все знает сенат, все видит консул; а этот человек еще жив!... Да и только ли он жив? Нет, он приходит в сенат, участвует в общественном совещании, своими глазами намечает убийство каждого из нас. А мы тем временем, мы, храбрые люди, считаем свой долг перед государством исполненным, если нам удалось избежать его преступных ударов» (I, 1, § 2). Уже в этом небольшом отрывке проявились характерные особенности стиля Цицерона.

Мастерство оратора сказалось здесь прежде всего в чрезвычайно стройном ритмическом построении речи, что было очень важно для римлянина, чуткого к ритму речи, и что нам, к со-

<sup>64</sup> Цитаты из речей даются в переводе К. Зелинского (из «Полного собр. речей», т. I. СПб., 1901 г. с небольшими отступлениями).

жалению, трудно полностью понять и оценить. Ритм был очень важен особенно для такой части речи, как вступление. Он помогал оратору понравиться слушателям, а это ему было необходимо с самого начала речи.

За тремя короткими, симметрично построенными фразами, идет более длинная, разбитая на несколько параллельных частей (isocolon). Каждая из этих частей начинается одинаково со слова — nihil, образуя, таким образом, звуковую фигуру — анафору, усиленную еще и градацией. Анафора очерчивает контуры симметричной конструкции и создает благозвучность, смысловая фигура — градация усиливает и подчеркивает мысль Цицерона о наглости Катилины: его не волнуют ни ночные стражи Палатина, ни караулы в городе, ни тревога граждан и т. д.:

*Quo usque tandem abutere. Catilina, patientia nostra?  
Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet?  
Quem ad finem sese effrenata jactabit audacia?  
Nihil te nocturnum praesidium Palatii,  
nihil urbis vigiliae,  
nihil timor populi,  
nihil concursus bonorum omnium,  
nihil hic munitissimus habendi senatus locus,  
nihil horum ora vultusque, moverunt?*

Когда же, наконец, Каталина, перестанешь ты злоупотреблять нашим долготерпением? Когда прекратится оскорбительная безнаказанность твоих безумных происков? Когда положишь ты предел своей необузданной, надменной отваге? Палатин охраняется ночной стражей, по городу расставлены караулы, среди граждан царит тревога, друзья отечества озабоченно совещаются, сенат заседает в укрепленном месте, на лице всех окружающих тебя выражение гнева, а тебе все это ничего не говорит? — I, 1, § 1).

Симметричная конструкция периода речи в сочетании с ассонансами — анафорой или с omoiteleulon, т. е. с одинаковыми **ОКОНЧАНИЯМИ** частей симметричной конструкции, иногда еще в соединении с антитезой и к тому же усиленная градацией — характерная черта цicerоновского стиля, создающая выразительный ритм. Цицерон очень часто пользуется такой конструкцией. С этой точки зрения интересно большое вступление к 4-й Катилинарии, где все периоды построены по симметрическому принципу. Например:

*Ego multa tacui,  
multa pertuli,  
multa concessi,  
multa meo quodam dolore  
in vestro timore sanavi.*

(О многом я смолчал, многое перенес, многое простил, многое направил к лучшему ценою действительной боли для меня и одного лишь страха для вас — IV, 1, § 2).

Нарушение симметрии в конце фразы придает ей определенную законченность.

Для того, чтобы понять, насколько разнообразно ритмическое построение речей Цицерона, можно привести еще один пример из необычайно тщательно отделанного вступления к 4-й речи. Фраза построена хиастически: в первой половине глаголы стоят на первом месте, во второй половине — на последнем; она приобретает, таким образом, интонационную завершенность: *Quare, patres conscripti, consulite vobis, prospicite patriae, conservate vos, conjuges, liberos fortunasque; populi Romani nomen salutemque defendite, mihi parcere ac de me cogitare desinite.* (Итак, сенаторы, позаботьтесь о самих себе, порадейте о государстве; охраняйте самих себя, жен, детей и имущество ваше, защищайте честь и благополучие римского народа; меня же щадить, обо мне думать перестаньте (IV, 2, § 3). Вернувшись к разбору 1-й Катилинарии, отметим, что следующая часть ее вступления (I, 1, § 1) по конструкции подобна упомянутой выше. Сначала следуют две симметрично построенные короткие фразы, затем более длинная фраза, разбитая на параллельные части, но на этот раз подчеркнутые не анафорой, как в предыдущем случае, а созвучными окончаниями глаголов. Чередование длинных и коротких фраз помогает оратору избежать монотонности, создает ритмическое разнообразие речи.

В создании ритма не менее важную роль, чем конструкция периодов, играет комбинация долгих и кратких слогов. Речь и ее части могут начинаться самыми различными стопами, но в конце периодов, в так называемых клаузулах Цицерон рекомендует использовать определенные стопы, придающие ему законченность. Например: кретик-спондей (— U —, — —) (*vultusque moverünt, I, 1, 1*) или дихорей (— U,— U) (*ignoraге ärbiträs, I, 1, 1*).

Цицерон не рекомендует кончать фразу несколькими короткими слогами. Его любимые концовки: кретик в сочетании с другим кретином (— U —, — U —), или особенно пеон с хореем типа *esse videätür* (I, 2, § 5; IV, 1, § 2) и т. п.

Ритм речи должен отвечать содержанию. Начало нашего вступления представляет собой соединение ямбов и пеонов, что вполне соответствует стремительному и напряженному характеру речи: *Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?*

Помимо явной заботы о ритме, о тщательном внимании оратора к отделке вступления в отредактированном тексте речи говорит и многое другое.

Три первые фразы вступления начинаются одним и тем же вопросом «когда?», но во всех трех случаях употреблены три разных слова, имеющие один и тот же смысл: *quousque, quam diu* и *quem ad finem* и к ним соответственно три различных усилительных частицы: *tandem, etiam, sese*. Это одна из форм проявления замечательного умения Цицерона использовать свой богатейший словарь (*сорiа verborum*) и особенно его синониму.

Любимая форма употребления Цицероном синонимов — парно соединенные синонимы, употребляемые так для усиления мысли и яркости выражения, а также и для стилистической равномерности. Очень часто они не абсолютно равнозначны и подчеркивают или оттеняют разные стороны мысли. Например, в 1-й речи Катилина *notat et designat* — отмечает и назначает глазами убийство каждого из сенаторов (I, 1, § 2). *Notat et designat* — два синонима, отличающиеся друг от друга лишь небольшим оттенком мысли, указывающим на последовательность действия: сначала отмечает (или примечает), а потом уже предназначает к убийству. *Oculis* — «глазами» относится одинаково и к *notat* и к *designat*, объединяя их. В § 18 7-й гл. этой речи примерно так же употреблены синонимы *ad evertendas perfringendasque*: «У тебя хватило сил не только на пренебрежение законов и судов, но и на их *свержение и попирание*» (*ad evertendas perfringendasque* — I, 7, § 18). Приставка — *per* — придает глаголу *perfringere* оттенок завершенности действия, какого нет у глагола *evertere*.

Некоторое постепенное усиление мысли, градацию можно отметить в 3-й речи, где употреблены подряд три синонима: *illustrata, patefacta, comperta* («выяснено, раскрыто, доказано» — III, 1, § 3). Усиление мысли чувствуется и в следующих трех синонимах, употребленных одновременно в конце 2-й речи, где Цицерон говорит гражданам, что они должны *graesari, venerari, implorare* (просить, молить, вымаливать со слезами спасения у богов — II, 13, § 29).

Таким образом, едва заметные оттенки отмечают здесь либо некоторую последовательность действия, обозначаемого синонимами (как в I, 1, § 2 и I, 7, § 18), либо постепенное усиление мысли (как в III, 1, § 3 и II, 13, § 29) и придают полноту выражению.

Для усиления мысли и полноты выражения, а также одновременно и для стилистической равномерности употреблены синонимы: *a carcere atque vinculis* (от тюрьмы и оков в I, 8, § 19); *laudi et gloriae* (чести и славы в I, 9, § 23); *perniciosam ac funestam* (гибельным и злополучным в I, 9, § 24); *tenues atque egentem* (бедных и нуждающихся в II, 9, § 20); *praedatonim direptorumque* (разбойников и грабителей в II, 9, § 20); *exsul-*

tat et triumphal (радуется и ликует во II, 2, § 3); lepidi ac delicati (милы и изящны во II, 11, § 23); inopia atque egestate (бедность и нищетой во II, 11, § 24); informes ac debiles (слабые и бессильные в III, 2, § 3); discriptum distributumque (расписано и распределено в III, 4, § 8); argumenta atque indicia (доказательства и признаки в III, 5, § 13) и т. д. Этот список можно было бы намного продолжить.

С той же целью Цицерон применяет не только отдельные, попарно и по три соединенные синонимы, но и целые синонимические обороты. Например, в 10 гл. 1 речи, говоря о том, что Катилина будет предаваться веселью, увидав, что в окружающей его толпе нет ни одного порядочного человека, он использует сразу три равнозначных выражения: laetitia perfruire (будешь наслаждаться весельем); gaudiis exsultabis (будешь ликовать от радости), in voluptate bacchabere (будешь неистовствовать в наслаждении). Так же синонимические обороты употреблены и в 13 гл. 1-й речи: scelerum foedere ac nefaria societate (узлами преступления и нечестивым союзом); или в 4-й речи: de facto iudicetis, de poena quid censeatis (что вы думаете о преступлении, что решаете о наказании — IV, 3, § 0). Мысль о том, что замыслы Катилины с его отъездом будут обнаружены и наказаны, интересно выражена в 4-й речи попарно объединенными синонимами: omnia patefacta, illustrata, oppressa, vindicata (все открыто, обнаружено, подавлено, наказано — I, 13, § 32).

Так же попарно сгруппированы синонимы и в 3-й речи, где сказано про Катилину, что он сам всегда obiret, occurreret, vigilaret, laboraret (присутствовал и помогал, бодрствовал и трудился — III, 7, § 16; ср. II, 1, § 1).

Употребление Цицероном синонимов необыкновенно разнообразно. Можно отметить, кстати, скопление синонимов в конце 2-й и 3-й речи — они придают заключению известную пышность, красоту.

Возвращаясь к вступлению первой речи, отметим, что здесь встречается и красивый риторический прием гендиадис (hendiadys), состоящий в том, что одно сложное понятие выражается через два простых.

Например, ora vultusque — взгляд и лицо (т. е. выражение лица — I, 1, § 1); или furorem ac tela — ярость и копья (т. е. яростных копий — I, 1, § 2); или mors ac rei publicae poena — смерть и казнь (т. е. смертная казнь) со стороны республики (I, 2, § 4); benevolentia famaе (т. е. благодарной молвой — III, 1, § 2); exitii ac fati (роковой гибели — III, 7, § 17); aspectus Cethegi et furor (безумный образ Цетегга — IV, 6, § 12).

Оратор употребляет гендиадис не для простого украшения речи, но и для того, чтобы лучше выделить смысл слов, состав-

ляющих эту фигуру речи. К тому же гендиадис, как и синонимические обороты, имеет большое значение для ритма речи, ее стилистической равномерности. Например, частое употребление гендиадиса и синонимических оборотов в начале вступления к 1-й речи — свидетельство внимательного отношения автора к ритму в этой части речи.

В конце § 2 вступления к 1-й речи мы видим довольно редко употребляемую Цицероном в патетических местах иронию. Иронизируя над трусостью сенаторов, которые вместо того, чтобы спасти Рим и отечество, трусливо уклоняются от ударов Катилины, оратор с горечью говорит: «...Мы же, храбрые люди, считаем свой долг перед государством исполненным, если нам удалось избежать его преступных ударов!» (I, 1, § 2).

Ирония — излюбленное оружие. Цицерона в борьбе против своих противников, — очень действенное риторическое средство. Ирония во всех видах: от самой явной, ядовитой и жестокой, какой были повержены оратором Веррес, Клодий, Антоний, до такой тонкой и легкой, что она почти незаметна, особенно часто встречается у Цицерона в речах, обращенных к народу, написанных умеренным, а то и самым простым стилем, для которого характерны такие приемы, как шутка, каламбур.

Из Катилинарий особенно богата иронией 2-я речь, где оратор, бурно радующийся уходу Катилины, ядовито высмеивает потерпевшего поражение противника, шутит над теми, кто сочувствует ему, полагая, что он ушел в изгнание, и с презрительной насмешкой характеризует приверженцев Катилины, составляющих его армию. Чтобы успокоить граждан, напуганных существованием заговора, Цицерон описывает «полчища» Катилины снисходительно и иронически, представляя их своей аудитории совсем нестрашными и недееспособными.

Сожалеея, что Катилина, уйдя из Рима, увел с собой лишь небольшое число своих друзей, «трактирные долги которых не угрожали государству никакими смутами», Цицерон иронически восклицает: «Зато каких героев он оставил! С какими долгами, с какими связями, с какими блестящими именами!» (I, 2, § 4). Аудитории становится ясно, что этих «героев» бояться не следует.

Пригрозив оставшимся в Риме сообщникам Катилины, он говорит, что может предоставить им теперь только одну льготу: разрешает им «уйти и удалиться, чтобы бедному Катилине не пришлось изнывать от тоски по ним» (II, 4, § 6). Обращаясь к тем, кто жалеет Катилину, Цицерон смеется над ними, изображая Катилину человеком робким, не в меру застенчивым (...homo.. timidus aut etiam permodestus — II, 6, § 12), а себя самого «жестоким консулом» (vehemens ille consul), одно слово которого отправило бедного Катилину в изгнание (II, 6, § 13).

Оратор не без горечи замечает, что, пожалуй, жалеть Каталину можно только за то, что ему пришлось оставить Рим, не лишив Цицерона жизни? (I, 7, § 16).

Особенно достается от Цицерона фаворитам и наперсникам Катилины, которых оратор отнес к шестому разряду его сторонников. Цицерон издевается над их изнеженностью и развратностью, иронически называя их «славными полчищами Катилины» (*praeclaras Catilinae copias*) и «преторианской когортой развратниц» (*hanc scortorum cohortem praetoriam* — II, 11, § 24). Однако смеясь над ними, Цицерон не забывает напомнить гражданам о том, что эти развратники опасны: «Эти милые, нежные мальчики (*hi pueri tam lepidi ac delicati*) умеют не только любить и быть любимыми, не только петь и плясать, но и поражать кинжалом и отравлять ядом» (II, 11, § 23).

Предупредив граждан об опасности, которую они представляют для государства, оратор насмешливым тоном вновь низводит их до положения презренных существ, которых не стоит бояться. «Но чего же, собственно, хотят эти несчастные? Неужели они собираются взять с собою в лагерь и своих любовниц? А как же они обойдутся без них, тем более в теперешние долгие ночи? И как перенесут они Аппенины с их снегами и морозами? или они думают, что их привычка плясать нагими на пиршествах поможет им легче переносить стужу?» (II, 10, § 23).

«Вот будет страшная война,— иронически заключает Цицерон,— когда Катилина окружит себя этим штабом развратников?» (II, 11, § 24).

Можно сказать, что такой живой разговорный тон, в котором важную роль играет ирония, составляет основное своеобразие 2-й речи против Катилины.

Ирония, правда, уже не такая явная и не так часто, как во 2-й речи, встречается и в других речах против Катилины, например, в 1-й, но она уже не является в них одним из основных тонов и носит совсем другой характер — это тонкая, нередко едва уловимая, но далеко не менее ядовитая ирония. Здесь Цицерон иронизирует, например, над трусостью аристократов (I, 1, § 2), которые вместо того, чтобы бороться с Каталиной, трусливо бежали из Рима «не столько ради спасения собственной жизни,— как тонко замечает оратор, обращаясь к Каталине,— сколько в видах противодействия твоим планам» (I, 3, § 7). Это горькая ирония человека, пекущегося о благе республики, над ее нерадивыми гражданами.

В первой речи Цицерон язвительно говорит о Каталине, с чувством превосходства высмеивая его неудачные попытки злоумышлять против консула и государства (I, 4, § 10; I, 5, § 10; I, 6, § 16). Оратор тонко и едко подсмеивается над неудав-

шейся попыткой покушения на него, которое должны были совершить двое посланных Катилиной: «Я усилил стражу, оберегавшую мой дом, и тем, которых ты рано утром прислал ко мне с поклоном, велел отказать...» (I, 4, § 10). «Уж не знаю,— восклицает далее Цицерон, имея в виду кинжал Катилины,— каким таинственным обрядом, каким обетом ты его освятил, что считаешь необходимым вонзить его в грудь консула!» (I, 6, § 16).

Такая ирония вполне соответствует высокому патетическому тону 1-й речи и не снижает его. Такого же характера ирония встречается нам и в 4-й речи, где Цицерон иронизирует над «мягкосердечием» Цезаря, предложившим вместо смертной казни пожизненное заключение для заговорщиков. Оратор излагает предложение Цезаря таким образом, что оно оказывается более жестоким, чем предложение Силана о смертной казни: «...Цезарь,— говорит он,— насилуя свою природную кротость и мягкость, безо всякого колебания осуждает П. Ленгула на вечные оковы и вечный мрак» (IV, 5, § 10).

Серьезность темы 4-й речи и строгая обстановка в сенате исключала возможность той явной и в некоторых местах даже игривой иронии, которой изобилует 2-я речь, но которая была бы совершенно неуместна как в 1-й речи, так и здесь.

Возвращаясь к первой речи, отметим, что бурный характер, стремительность ее вступления хорошо подчеркивает такой прием, как *asyndeton* — бессоюzie: «Все знает сенат, все видит консул» и т. д. (I, 1, § 2).

Помимо пропусков союзов в сложном предложении, как в вышеприведенном примере, или, как в IV, 2, § 4; IV, 1, § 1 и др. Цицерон часто не связывает союзами несколько идущих подряд синонимов, как, например, во вступлении ко 2-й речи: «он ушел, удалился, умчался, исчез» (II, 1, § 1), где бессоюzie сообщает живость речи. В конце первой речи, где Цицерон говорит о кознях Катилины, что они «обнаружены, освещены, подавлены, наказаны» (I, 13, § 32) или о Каталине, что он всегда и во всем «присутствовал, помогал, бодрствовал, трудился» (III, 7, § 16), такой прием способствует утверждению мысли Цицерона, настойчиво выражаемой синонимами.

Созданию патетического тона вступления к 1-й речи чрезвычайно способствует то, что почти каждая фраза начала вступления построена по принципу постепенного усиления мысли, так называемой градации (*gradatio*): «Ты не замечаешь, что твои замыслы обнаружены, что твой заговор уже раскрыт перед всеми этими сенаторами? Ты все еще считаешь неизвестным кому-либо из нас, что ты делал в прошлую, что в позапрошлую ночь, где ты был, кого созывал, какое принял решение?» (I, 1, § 1).

Цицерон употребляет градацию обычно в самых патетических местах своих речей (I, 4, § 9; I, 5, § 10; I, 5, § 11; I, 7, § 18; I, 5, § 12; II, 1, § 1; IV, 1, § 2; IV, 2, § 4; IV, 7, § 14; IV, 9, § 18).

Это очень выразительный прием, хорошо передающий пафос оратора.

Например, во вступлении к 4-й речи Цицерон просит сенаторов не заботиться о его судьбе, так как он привык к смертельной опасности, от которой он не был свободен «ни на форуме, этой арене правосудия, ни на Марсовом поле, освященном консульскими ауспигиями, ни в курии, этой всенародной гавани спасения, ни в собственном доме, этом природном убежище человека, ни на ложе сна, ни на кресле чести; о многом я смолчал, многое перенес, многое простил, многое направил к лучшему ценою действительной боли для меня и одного лишь страха для вас» (IV, 1, § 2). Здесь подряд две градации, подчеркнутые в обоих случаях анафорой: в первом — повторением в подлиннике отрицания *pop*, во втором — повторением слова *multa* — «много».

Далее, во вступлении к этой же речи оратор призывает сенаторов быстрее решить участь заговорщиков. При этом он подчеркивает, что решения суда ждет — «не Тиб. Гракх, пожелавший вторично стать народным трибуном, не Г. Гракх, пытавшийся возобновить аграрное движение, не Л. Сатурнин, убивший Г. Меммия, нет — уличены те, которые остались в Риме ради поджогов, ради вашего поголовного избиения, ради выдачи города Катилине; уличены они своими письмами, своими печатями, своими почерками, своими признаниями» (IV, 2, § 4).

Этот отрывок содержит три градации, в двух первых случаях опять подчеркнутые анафорой, а в последнем — усиленную бессоюзием.

Мы чаще встречаем градацию в наиболее патетических из четырех Катилинарий: в 1-й и 4-й.

Предложение, построенное по принципу градации, часто подчеркнутой анафорой, или оборотом «не только, но и», обычно входит у Цицерона составной частью в симметричную конструкцию (I, 4, § 9; I, 7, § 18; IV, 1, § 2; IV, 2, § 4). Градация чаще всего бывает у него восходящей, как во всех приведенных выше примерах. Иногда Цицерон употребляет попарно нисходящую и восходящую градацию, как в самом начале 2-й речи против Катилины:

«Наконец-то, Квириты,— говорит Цицерон,— удалось мне Луция Катилину... уж не знаю сказать ли «изгнать», или «выпустить», или «почтить напутственной речью при его добровольном уходе». «Он ушел, удалился, ускользнул, вырвался» (II, 1, § 1). В первом случае идет постепенное ослабление мыс-

ли, во втором — усиление. Глагол *abiit* (ушел) просто констатирует факт, остальные же глаголы второго периода в обратном порядке соответствуют глаголам первого периода: *excessit* — *egredientem* (удалился — выходящего); *evasit* — *emisimus* (ускользнул — выпустили); *egripit* — *ejecimus* (вырвался — изгнали).

Возвращаясь опять-таки к вступлению к 1-й речи, заметим, что все оно, а особенно его 1-я часть представляет собой постепенное нарастание мысли о страшной виновности Катилины перед республикой, о невозможности дальнейшего бездействия сената. Оратор умело подводит слушателя к выводу о необходимости самого жестокого наказания для Катилины: «Давно уже, Катилина, следовало по приказанию консула повести тебя на казнь, на тебя направить ту гибель, которой ты угрожаешь нам» (I, 1, § 3).

Закончив самую патетическую часть вступления к первой речи осуждением Катилины на смерть, Цицерон переходит на более умеренный тон и обращается к истории. Он говорит, что благородный П. Сципион убил Тиб. Гракха, хотя его происки были сравнительно невинны, Квинт Фабий предал казни Сп. Кассия за покушение на свободу Рима и т. д., а сенат и он, имея чрезвычайные полномочия, терпят Катилину, «желающего всю землю (*orbis terrarum*) опустошить кровопролитиями и пожарами» (I, 1, § 3). Здесь Цицерон специально преуменьшает значение проступков людей, с которыми он сравнивает Катилину, и, наоборот, допускает преувеличение в определении замыслов Катилины. Критическая обстановка момента произнесения речи вполне оправдывала эту явную гиперболу, допущенную в пылу ораторского вдохновения, так как она давала нужный эффект. Цицерон довольно часто допускает подобные преувеличения: I, 1, § 3; I, 4, § 9; I, 5, § 12; I, 6, § 14 и § 15; IV, 1, § 2, IV, 6, § 12 и др.

Сопоставление Катилины и Гракхов проводится в форме, не встречавшейся нам раньше в этой речи риторической фигуры «*amplificatio per comparationem*» (сгущение красок при помощи сравнения).

Цицерон сопоставляет Тиб. Гракха и Катилину, республику, против которой злоумышлял Гракх, и всю землю, против которой будто бы злоумышляет Катилина; умеренный проступок первого (*mediocris labefactatio*) и убийства и пожары (*caedes et incendia*), которые готовит второй, и т. д. Дела и замыслы Катилины при таком сопоставлении представляются особенно преступными.

Можно отметить, кстати, что Цицерон вполне оправдывает здесь расправу с Гракхами и Л. Сатурнином. В течение всей своей жизни он постоянно старался занимать примиренческую

позицию и любил проповедовать принцип «согласия всех благонамеренных людей». Тем не менее ясно, что его политические симпатии всецело принадлежали аристократии, для которой, однако, он, выходец из всаднического сословия, был всего-навсего «высочкой». Цицерон отрицательно относился к политике Гракхов. Он идеализировал прошлое Рима, с восторгом смотрел на ту республику, когда, как ему казалось, господство аристократии было непоколебимо и считал, что все смуты в государстве пошли от них. Раскол на две партии: оптиматов и популяров, происшедший в Риме после Гракхов, Цицерон расценивал как явление более тяжелое для республики, чем появление двух солнц («О республике», I, 19). Но здесь, сопоставляя Гракхов с Каталиной, он даже их вину представляет незначительной по сравнению с его кознями. Оратор всё делает для того, чтобы в настоящую минуту достичь желаемого результата — убедить слушателей в том, что Катилина достоин смерти.

В таком же аспекте подается сопоставление Гракхов и Катилины в конце 1-й речи (I, 12, § 29) и в 4-й речи (IV, 2, § 4; IV, 6, § 15).

Слегка замаскированная полемика Цицерона с Цезарем в 4-й речи против Катилины о наказании пойманных заговорщиков, рассуждения Цицерона об истинных и мнимых демократах, его софистический спор с Цезарем о том, является ли смерть наказанием — не что иное, как отражение борьбы двух различных партий республиканского Рима в ораторском искусстве того времени.

Во вступлении к 1-й речи, изобилующем разнообразными риторическими фигурами, мы встречаем также прием, называемый *praeteritio* — умолчание, представляющий собой своеобразный риторический парадокс: оратор говорит, что он хочет умолчать о каком-нибудь факте и тут же его приводит. «Есть и другие примеры,— рассказывает Цицерон о случаях казни римского гражданина без суда,— но на них я вследствие их давности сослаться не решаюсь: мы читаем, что квестор К. Фабий предал казни Сп. Кассия за его покушение на свободу Рима, что Г. Сервий Агала собственноручно убил Сп. Мелия за попытку произвести государственный переворот» (I, 1, § 3). Оратор таким образом обращает на эти факты внимание аудитории.

Нельзя не упомянуть о необычайно образном и красивом развернутом сравнении, которое мы находим тут же, во вступлении к первой речи: чрезвычайные полномочия, данные ему сенатом, но которые он не может без поддержки сената полностью использовать против Катилины, Цицерон сравнивает с острым мечом, который заключен в писцовые таблички, слов-

ко в ножны, и притупляется от долгого бездействия. Сравнений Цицерона обычно очень точны и образны. Стоит вспомнить, например, яркое сравнение Катилины с раненым зверем в начале 2-й речи, или, например, место в 1-й Катилинарии, где он сравнивает заговорщиков в государстве с нечистотами на корабле, которые необходимо вычерпать (I, 5, § 12), или во 2-й Катилинарии, где он образно называет понесших поражение сторонников Катилины, потерпевшими кораблекрушение (II, 11, § 24).

Через все Катилинарии проходит сравнение заговора Катилины с чумой, заразой (*pestis* — I, 5, § 11; II, 1, § 2; IV, 2, § 4; IV, 3, § 6), охватившей многие районы Италии.

В конце 1-й речи, поясняя, почему он не хочет убивать одного Каталину, а желает гибели всех заговорщиков, Цицерон приводит такое развернутое сравнение: «Как тяжело больные, томимые лихорадочным жаром, нередко после глотка холодной воды чувствуют на первых порах некоторое облегчение, но затем еще тяжелее и сильнее страдают — так и эта государственная болезнь будет лишь облегчена с его смертью, но затем вернется с удвоенной силой, если остальные останутся живы» (I, 13, § 31).

В 4-й речи, вынуждая сенаторов быстрее решить участь заговорщиков, он так характеризует широкое распространение заговора: «Шире, чем это думают, рассеяны семена этого зла; оно не только охватило Италию, но уже и проникает за Альпы, уже, незаметно распространяясь, образовало гнезда во многих провинциях». (IV, 3, § 6). Образное описание и особенно выражение «*obscurę serpens*» («незаметно пробираясь») вызывают в воображении слушателя или читателя образ коварной ядовитой змеи, угрожающей всей Италии.

Во вступлении к 1-й речи Цицерон употребляет также звуковую фигуру, называющуюся «*geminatio*», представляющую собой повторение двух раз подряд одного и того же слова. Оратор использует ее и для того, чтобы подчеркнуть, что на ней стоит логическое ударение (I, 1, § 3—2 раза: 1, 2, § 4). Например: «*fruit, fruit ista quondam in republica virtus*, — с горечью произносит оратор, делая ударение на том, что именно была некогда в республике доблесть, а теперь ее нет. Положение глагола *fruit* в начале предложения, со своей стороны, еще больше подчеркивает тот факт, что смысловое ударение стоит на этом слове. Нужно заметить, что Цицерон употребляет *geminatio* не очень часто и преимущественно в патетических местах: *nos, nos, dico aperte, consules desumus* (Мы, мы, консулы, признаюсь в этом открыто, не исполняем своего долга — I, 2, § 4), или: *Hic, hic sunt in nostro numero, patres conscripti, in hoc orbis terrae sanctissimo gravissimo consilio, qui de nostro omnium inte-*

ritu... cogitent. («Здесь, сенаторы, здесь, среди нас, в этом священнейшем и важнейшем совете вселенной, есть люди, помышляющие о нашем поголовном избиении...» — I, 4, § 9).

Вступления ко 2-й и 3-й речи уже значительно отличаются от патетического вступления К 1-й речи, в котором преобладает страстно-негодующий тон. Про вступление ко 2-й речи Цицерон сам говорит, что оно ликующее и радостное (*exsultat et triumphat oratio mea* — II, 2, § 3); И действительно: оратор, торжествующий по поводу ухода из города Катилины, даже как бы не может от радостного волнения найти подходящие слова, чтобы рассказать об этом своим согражданам. Поэтому начало вступления ко 2-й речи отличается скоплением синонимов, градацией и бессоюзием: «Наконец-то, Квириты, удалось мне Л. Катилину — как ни неистовствовал он в своей бешеной отваге, как ни дышал злобой, как ни стремился погубить свое отечество своими нечестивыми деяниями, как ни угрожал вам и нашему городу мечом и огнем, — наконец-то, повторяю, удалось мне его... уж не знаю сказать ли «изгнать», или «выпустить», или «почтить напутственной речью при его добровольном уходе». «Он ушел, удалился, ускользнул, вырвался» (II, 1, § 1).

Выразив радость по поводу того, что Катилина ушел, унося «свой меч необагранным в нашей крови», Цицерон сравнивает его с раненым зверем, который лежит во прахе и озирается «на наш город, горюя, что у него исторгнули из пасти его добычу», — Цицерон заканчивает это небольшое вступление эффектными словами о городе, который чувствует «радостное облегчение, что ему удалось изрыгнуть эту мерзость и выбросить ее за ворота». Некоторая проявившаяся здесь грубоватость выражения вообще характерна для языка и стиля 2-й речи. Цицерон знал, что народ любит сильные выражения. Живое темпераментное вступление задает тон всей речи, полной иронии, ярких живых характеристик, метких и даже фривольных выражений.

Маленькое вступление к самой строгой из четырех по стилю 3-й речи выражено в изощренно-торжественных тонах. Цицерон объявляет гражданам, что жизнь их и жизнь республики спасена и вырвана из пасти рока благодаря бессмертным богам и его стараниям: «...тот огонь, который уже был подложен отовсюду под все храмы, молельни, здания и стены всего вашего города, я потушил; те мечи, которые были обнажены против государства, я отклонил; те кинжалы, которые уже были приставлены к вашему горлу, я вырвал из рук убийц» (III, 1, § 2).

Оратор даже позволяет себе здесь немного пофилософствовать вообще о радости спасения.

Он упоен удачей в столь сложном деле, горд мыслью о том, что спас человечество, и, чтобы подчеркнуть значительность

события, заковывает свою радость в торжественные и звучные фразы (ср. II, 1, § 2). Вступление этой речи представляет полную противоположность ее *narratio*, теме, написанной в строгом деловом тоне, без лишних слов и украшений: факты о поимке аллоброгов и допросе в сенате выразительно говорили сами за себя. Такое резкое чередование стилей имело определенный эффект и производило впечатление на аудиторию.

Большое вступление к 4-й речи — пожалуй, самое отделанное риторически и стилистически из всех вступлений к Катилинариям. По характеру употребленных здесь Цицероном риторических приемов, по стилю оно ближе всего ко вступлению 1-й речи, однако в нем нет уже той искренности чувства, которая особенно отличает как вступление к 1-й речи, так и всю эту речь.

Чрезмерное обилие риторики в этом вступлении у современного читателя создает впечатление искусственности. Оно особенно усиливается к концу вступления, где у оратора появляются в голосе даже мелодраматические нотки, когда он говорит, что не может оставаться равнодушным к скорби «столь же любящего, сколь любимого брата» или вспоминает «бледную от волнения жену, дрожащую дочь и малютку-сына». Правда, эта ораторская изощренность у римской публики тех времен, по-видимому, имела успех.

Вот некоторые характерные для Цицерона, оратора и человека, выражения, содержащиеся в этом вступлении, на которые он был мастер.

В ответ на беспокойство сената по поводу тех горестей, которые выпадут на долю Цицерона, оратор говорит: «...я перенесу их не только покорно, но и с полной готовностью (*non solum fortiter, verum etiam libenter*), лишь бы мои невзгоды были залогом славы и благополучия для вас и для народа римского...» (IV, 1, § 1).

Заверяя сенат, что он, если ему придется умереть, встретит смерть спокойно и бесстрашно, Цицерон приводит следующее рассуждение: «Смерть не позорна для того, кто достаточно потрудился на своем веку, не преждевременна для того, кто уже достиг консулата, не горестна для того, кто вкусил плодов мудрости» (IV, 2, § 3).

Обещая сенаторам благополучный исход и ликвидацию заговора, оратор говорит: «...если Ц. Лентул, дав веру вещателям, счел свое имя роковым символом гибели государства, почему бы и мне не лелеять радостной мечты, что мой консулат станет тоже... «роковым символом» спасения римского народа?» (IV, 1, § 2).

Стиль *narratio* по теории Цицерона сильно отличается от стиля вступления. Его особенность — естественность и простота.

Слушатель должен верить, что все происходило и именно так, как рассказывает оратор. Рассказ поэтому должен иметь прежде всего вид искреннего достоверного рассказа. Цицерон составлял свои *narrationes* настолько просто, насколько это было прилично для публичной речи. Во времена империи чрезмерная простота его *narratio*, например, в речи в защиту Милона даже ставилась ему в упрек. Однако тогда же он нашел себе защитника в лице Квинтилиана, который заметил, что простота цицероновского *narratio* — тоже искусство (Квинтилиан, «О воспитании оратора» IV, 2, § 57—58). Однако он смело отходил от принятых правил, когда это казалось ему необходимым.

В первой Катилинарии Цицерон предельно прост и естественен, приближаясь к разговорному стилю, в изложении известных ему фактов о кознях Катилины. Но, в то же время он поднимается до высот самой изысканной риторики, когда влагает речь в уста олицетворенной родины или обращается с молитвой к богам.

Характеристика Катилины и его банды также дается в патетическом стиле даже в такой речи, как 2-я (II, 3—5, § 5—11). *Narratio* этой речи, написанной в разговорном стиле, отличается необыкновенным богатством интонаций, живостью и яркостью изложения. Тон не оставляет сомнений в искренности оратора. Цицерон владел замечательным умением варьировать различные стили в одной и той же речи: от разговорного до патетического и как никто умел придавать ей самые разнообразные оттенки: от мягкого, поэтического, до грозного и обличающего.

*Narratio* самой спокойной 3-й речи составлено, в общем, в строгом, умеренном стиле. Цицерон рассказывает о поимке и допросе аллоброгов и заговорщиков без лишних слов и отступлений, весь рассказ выдержан примерно в таком тоне: «И вот, незадолго до смены третьей стражи, явились, с большим конвоем, послы аллоброгов, а с ними и Вольтурций, едва только вступили они на мост, как на них было произведено нападение. Схватились за мечи и они и наши: дело было известно одним только преторам, из остальных же никому. С появлением Помптика и Флакка начавшаяся уже было свалка прекращена; все письма, имевшиеся у Галлов или их спутников, были переданы преторам нераспечатанными; сами они были арестованы и, уже на рассвете, приведены ко мне» (III, 2—3, 6).

Оратор всего лишь слегка повышает голос в 7-й главе, где он характеризует Катилину, рисуя его хладнокровным и опасным врагом. По сравнению со страстной, красочной и яркой характеристикой Катилины, содержащейся в 1-й и 2-й речи, снабженной к тому же не одним бранным словом по его адресу, характеристика Катилины в 7-й главе 3-й речи отличается строгостью и, видимо, относительной объективностью.

Все это вполне объяснимо: обстоятельства произнесения 3-й речи (заговор подавлен) и факты, в ней изложенные, настолько красноречивы, что чрезмерная ораторская изощренность была уже излишней. Таким образом, сдержанность в изложении самых значительных событий раскрытия заговора — определенная риторическая уловка Цицерона.

Большая часть *narratio* 3-й речи, начиная с 8 главы и до заключения, посвящена перечислению добрых предзнаменований, предшествующих раскрытию заговора, убеждению граждан в том, что ничто не обошлось без вмешательства богов. Здесь у оратора появляются иногда редкие в этой речи патетические нотки (III, 9, § 22).

Обращение оратора к богам и божественным предзнаменованиям сделано по традиции и с целью придать больше значительности событиям, а тем самым и своим заслугам в них.

В *narratio* 4-й речи Цицерон, пытаясь сохранить видимость объективности, разбирает два мнения, высказанные в сенате о наказании заговорщиков. Оратор, начав разбор спокойным, умеренным тоном, то и дело переходит с него на патетический. Доводы Цицерона за наказание смертной казнью требовали и самой мощной риторической поддержки. Поэтому *narratio* 4-й речи отличается разнообразной риторикой и местами высокой патетикой. Оратор то пугает сенаторов страшной картиной разрушения: «Я живо представляю себе, как наш город,— этот светоч вселенной, это убежище народов — внезапно гибнет, объятый одним сплошным пламенем; я вижу на могиле погребенной отчизны жалкие груды непогребенных трупов граждан, вижу испуганное лицо Цетега, ликующего среди потоков вашей крови» (IV, 6, § 11), то, перечислив все разряды римских граждан и убедив сенаторов в том, что все они готовы помочь подавить заговор, бросает им в лицо упрек: «...вы видите, сенаторы, что вы не будете оставлены римским народом; ваше дело — позаботиться, чтобы римский народ не оказался оставленным вами» (IV, 8, § 18), то, обратив внимание на бедственное положение отчизны призывает их скорее принять решение: «...сегодня вам придется решить участь вашу, ваших жен и детей, всего, что кому-либо из вас дорого, ваших жилищ, ваших очагов» (IV, 9, § 18).

Вернувшись к анализу 1-й речи, отметим, что после страстного, взволнованно приподнятого вступления Цицерон начинает *narratio* 1-й речи мягким увещательным тоном, с почти поэтическими образами, которые придают речи некоторый оттенок приподнятости. Получается постепенный переход от высокой патетики вступления к разговорному стилю следующих частей речи. «В самом деле, Катилина,— говорит Цицерон,— на что еще можешь ты возлагать свои надежды, видя, что ни мрак ночи не в состоянии скрыть (*neque nox tenebris obscurare...*

potest) нечестивые действия твоего заговора, ни стены частного дома — схоронить хотя бы голос... яснее дня (*clariora luce*) для нас картина всех твоих замыслов...» (I, 3, § 6).

Далее, тоном, полным искренности, не оставляющим сомнения в правоте оратора, он рассказывает, обращаясь к Катилине, то, что ему известно о планах заговорщиков. Это полурассказ, полудопрос. Цицерон как бы вызывает Катилину на откровенный разговор (I, 3, § 7—1, 4, § 10). «Ты помнишь (*meministine*),—говорит он ему,—я в 12-й день до ноябрьских календ сказал в сенате, что в определенный день... поднимет знамя восстания Г. Манлий...» (I, 3, § 7). Или: «...когда ты в самые ноябрьские календы предпринял ночное нападение на Пренесте... и наткнулся на охранявшие его гарнизоны...—почувствовал ли ты (*sensistine*), что это были мои люди...» (I, 3, § 8). Иногда, прервав этот рассказ — разговор, он торжествующе заявляет, хвастаясь своей осведомленностью: «...ты ничего не можешь не только исполнить, но даже предпринять, даже задумать, о чем я не получил бы известия...» (I, 3, § 8). В подлиннике это — классический пример парной восходящей градации, подчеркнутой в первом случае анафорой, во втором — любимым цicerоновским оборотом *non modo, sed etiam* (не только, но даже...), создающей симметричную конструкцию: *nihil agis, nihil moliris, nihil cogitas, quod non ego non modo audiam, sed etiam videam planeque sentiam*.

К тому же каждый глагол второй половины градации соответствует по смыслу определенному глаголу первого оборота: *agis — audiam; moliris — videam; cogitas — sentiam*. (Ты ничего не делаешь — о чем бы я не услышал, ничего не предпринимает, чего бы я не увидел, ничего не замыслишь, чего бы я не почувствовал). Вслед за одной похвалой себе идёт и вторая, на этот раз заключенная в форму красивой антитезы, обращаящей на себя внимание: «...ты сейчас увидишь,—говорит оратор Катилине,— что я с гораздо большей бдительностью охраняю государство, чем ты под него подкапываешься» (I, IV, § 8).

Иногда, как бы не выдержав тяжести происходящего, Цицерон прерывает спокойное течение рассказа восклицанием: «О, боги бессмертные! Где мы? В каком государстве мы живем?» (I, 4, § 9) и т. д.

Такие отступления поддерживают взволнованный приподнятый тон 1-й речи, который задан ее вступлением и который, при всем разнообразии оттенков этой речи, является в ней основным. Кроме того, перемежая разговорный или более строгий (как в §§ 9 и 10 4-й главы этой речи) стиль *narratio* небольшими патетическими отступлениями, оратор достигает разнообразия и избегает монотонности, свойственной рассказу.

Доказав Катилине, что он все знает и не допустит, чтобы тот что-нибудь предпринял без его ведома, Цицерон подводит его к решению оставить город, к мысли о бессмысленности дальнейшего пребывания в Риме, где все либо боятся, либо ненавидят его. К тому же (Цицерон дает ему это понять) консул может в любую минуту применить по отношению к нему репрессивные меры.

«Теперь, Катилина, продолжай свое дело, оставь, наконец, наш город; ворота открыты — уходи» (*egredere aliquando ex urbe; patent portae; proficiscere* I, 5, § 10). Мысль, заключенная в эти короткие отрывистые предложения, не связанные союзами, звучит, как приказание. «*Purga urbem*» (очисти город) — уже прямо и грубо говорит далее Цицерон.

Тон оратора в этой части речи (гл. 5, 6) из повествовательного в рассказе о кознях Катилины опять становится гневным и обличительным, особенно в характеристике Катилины и его банды:

«Твоя жизнь заклеена всеми знаками семейного позора, твоя слава забрызгана грязью всевозможных неопытных проделок. Нет сладостного зрелища, которым бы ты не осквернил своих глаз, нет преступления, которым бы ты не замарал своих рук, нет разврата, в который бы ты не погрузился всем своим телом...».

Во 2-й речи, сказанной перед толпой народа, характеристика Катилины дается в еще более сильных выражениях:

«Нет во всей Италии ни отравителя, ни головореза, ни разбойника, ни бандита, ни убийцы, ни поддельвателя завещаний, ни обманщика, ни пропойцы, ни мота, ни расточителя, ни порочной женщины, ни развратителя молодежи, ни оболщенного и загубленного, который бы не называл Катилины в числе своих самых коротких друзей; не было за последние годы убийства, которое бы обошлось без него, не было развратного деяния, душой которого не был бы он. Да и кто может похвалиться таким умением совращать юношей, каким обладал он?» (II, 4, § 7—II, 5, § 11) и т. д.

Во 2-й речи содержится подробная характеристика Катилины и его сообщников (гл. 7—11), но уже в 1-й Цицерон сделал некоторые ее пометки. Он употребил для этого те слова, выражения, образы, которые затем встретятся нам в других речах против Катилины.

Сказав Катилине *purga urbem*, Цицерон тем самым уравнивал его с грязью, нечистотами, засоряющими город. Объясняя, почему он медлит с казнью Катилины, Цицерон опять сравнивает с грязью, и шайку его сообщников, употребив для этого слово «*sentina*», означающее нечистоты, скопляющиеся в нижней части корабля. Он как бы проводит тем самым мысленное сопо-

ставление: государство — корабль<sup>65</sup>; Катилина и заговорщики — нечистоты, лишь загрязняющие корабль, от которых его необходимо очистить.

«...Если я прикажу тебя казнить, то остальная шайка (*manus*) заговорщиков осядет (*residebit*) в государстве; если же ты, повинувшись моему неоднократному приглашению, уйдешь, то и эта большая и зловонная лужа (*magna et perniciose sentina*)... — твоя свита — будет выкачана (буквально — вычерпается — *exhaurietur*)» (I, 5, § 12—13).

Тот же образ сохраняется и во 2-й речи (II, 1, § 2), где оратор радуется уходу Катилины. Город чувствует радостное облегчение, что он «изрыгнул и выбросил вон такую заразу»: *quod tantam pestem evomuerit forasque projecerit*.

В этой речи, как и в 1-й (I, 5, § 13), оратор опять употребляет по отношению к заговорщикам слово *sentina* и глагол *exhaurire*: «О, как счастливо будет государство, когда оно освободится от этих подонков городского общества! Ведь даже теперь, когда оно выбросило одного Катилину, оно кажется мне облегченным и поправившимся» (II, 4, § 7).

Выступая со своей речью перед толпой народа на форуме, Цицерон не стеснялся в выражениях и, видимо, даже считал, что чем больше в речи бранных слов по адресу Катилины и его друзей, тем сильнее она подействует на народ и тем скорее развеет всякие сомнения в его преступности. Уже в самом начале речи, во вступлении, он называет его «взбесившимся от наглости» (*furientem audacia*), «дышащим преступлением» (*scelus anhelantem*), радуется, что внутри стен города можно уже не бояться злоумышлений со стороны этого «чудовища и изверга» (*a monstro illo atque prodigio*). Оратор с презрением говорит о войске Катилины, которое составлено «из состарившихся уже головорезов, избаловавшихся поселян, обанкротившихся помещиков».

Он то и дело называет их «шайкой пропавших людей» (*perditorum hominum* — II, 4, § 8), «позорным стадом беспутных негодяев» (*desperatorum hominum flagitiosi greges* — II, 5, § 10). Но особенно досталось от него той части сторонников Катилины, которую представляли благоухающие и надменные городские щеголи, без дела снующие по городу. «Я бы предпочел, чтобы он увел отсюда в качестве своих солдат тех, — сказал Цицерон, — что теперь рыщут по форуму, теснятся у дверей курии, да и в сенат приходят, этих щеголей, лоснящихся от благовоний, блещущих пурпуровыми тканями...» (II, 3, § 5).

<sup>65</sup> Сопоставление государства с кораблем, являющееся общим местом (*locus communis*), встречается нам и в 4-й речи, где Цицерон, призывая сенаторов быстрее решить участь заговорщиков, советует им быть внимательнее и оглянуться на бури (*omnes procellas*), которые угрожают (*qui impendent*) государству. См. также Гораций. Оды, I, 14.

Это те самые юнцы, которые умеют не только «любить и быть любимыми», но и убивать.

«...если бы они за вином и игральным столом думали лишь о кутеже и разврате — мы сочли бы их людьми пропавшими, но сносными, — говорит Цицерон, — но можно ли допустить, чтобы бездельники злоумышляли против честных тружеников...» (II, 5, § 10).

Оратор не удержался от ярких и наглядных зарисовок развратной жизни этих людей. Он, видимо, полагал, что именно эта сторона жизни должна вызвать особое возмущение у народа, моральные устои которого были несомненно выше нравственности разложившейся аристократии. Вот две из таких картинок: «Вы видите их, как они расхаживают, гладко причесанные и напомаженные, одни — безбородые, другие — с изящной бородкой, одетые в длинные туники с рукавами и в широкие, точно паруса, тоги; вся их деятельность, все их умение бодрствовать посвящены ночным оргиям. В этой компании находятся все шулера, все прелюбодеи, все срамники и развратники» (II, 10, § 22).

«И это они, лежа на пиршествах в объятиях бесстыдниц, отягченные пищей и вином, увенчанные цветами, умашенные благовониями, истощенные сладострастием — изрыгают речи о резне честных граждан и о поджоге города» (II, 5, § 10).

Различные эпитеты и метафоры, терминология из определенных областей жизни также характеризуют Катилину и отношение к нему Цицерона. Например: «Твоя жизнь заклеимена (*inusta*) всеми знаками (*nota*) семейного позора, твоя слава забрызгана грязью всевозможных неопытных проделок» (I, 6, § 13). Выражение *nota inusta* — употреблялось обычно к заклеименным рабам, так что Катилина ставился здесь на одну доску с преступным рабом. Цицерон далее символически сравнивает Катилину, покровительствующего разврату, с рабом, освещающим факелом темной ночью путь знатного юноши, идущего развратничать (*ad libidinem*).

Для аристократа Катилины сравнение с негодным рабом, которого вообще тогда не считали за человека, было чрезвычайно унижительно. Почти так же унижительно для Катилины было и сравнение его с гладиатором, которые пользовались дурной славой. В § 29 12-й главы 1-й речи он прямо называет его гладиатором, говоря, что ни одного часа жизни не оставил бы этому гладиатору (*gladiatori isti*). В § 15 6-й главы этой же речи Цицерон, используя соответствующие термины, как бы создает картину гладиаторского боя, где Катилина выступает в роли гладиатора: «...сколько раз ты пытался убить меня в мою бытность и назначенным, и действительным консулом! сколько раз я от твоих ударов, направленных, казалось бы, с неизбежной

меткостью, спасался — можно сказать, ловким поворотом, чуть заметным движением тела» (I, 6, § 15).

Следует особо отметить, какой замечательной наглядности достигает Цицерон в создании этой картины. Технический термин, заимствованный из гладиаторских боев, употребляет Цицерон и в самом начале 1-й речи (I, 1, § 1): *Quam din etiam hoc iste tuus nos eludet?* (*Eludere* — значит: упорствовать, парировать, уклоняться).

Во 2-й речи покинувший город Катилина уже изображается истощенным и раненым гладиатором (*gladiatori illi confecto et saucio* — II, 11, § 24). В этой же речи как в самом постыдном, Цицерон уличает его в сношениях с гладиаторами и актерами (II, 5, § 9).

Интересно проследить, как характеристика Катилины и заговорщиков, проходящая через все четыре речи, приобретала в каждой из них свой особый оттенок в зависимости от времени и обстановки произнесения каждой речи.

В 1-й речи Катилина изображен грязным разбойником и злодеем, открыто и нагло злоумышляющим против республики, обрекающим на гибель и разорение «и храмы бессмертных богов, и здания города, и жизнь всех граждан, и всю Италию» (I, 5, § 12).

Такая характеристика главного заговорщика имела целью припугнуть сомневающихся в существовании заговора и медлящих с поддержкой Цицерона сенаторов, умалив или вообще сведя на нет благородное происхождение Катилины, которое мозолило глаза и Цицерону, и сенату. Кроме того, смелая характеристика Катилины, данная ему консулом в этой речи, с унижительными для аристократа сравнениями как бы демонстрировала перед лицом Катилины и сената уверенность Цицерона в своем превосходстве и своей правоте, которой, может быть, на самом деле у него не было.

Во 2-й речи ликующий после первой победы (изгнания из города Катилины) Цицерон уже презрительно называет Каталину «истощенным и раненым гладиатором». После ухода Катилины в существование заговора поверили даже самые неверующие. Паника и страх перед заговорщиками наверняка возросли, поэтому здесь Цицерон все старания направляет уже на то, чтобы подбодрить сограждан — союзников. Он старается поднять дух, указав на их моральное превосходство перед Каталиной:

«В наших рядах сражается скромность, в их рядах — задор; за нас — стыдливость, за них — разврат; за нас честность, за них — обман; за нас благочестие, за них — безбожие; за нас благоразумие, за них — бешенство; за нас благородство; за них — позор»... (II, 11, § 25).

Можно быть совершенно уверенным в том, что смысл слов, облеченных в форму этой великолепной антитезы прозвучал для слушателей вдвойне сильнее и убедительнее благодаря своей прекрасной оболочке.

Ко времени произнесения 3-й речи победа над заговором в Риме стала уже несомненной. Чтобы как можно выше поднять значение этой победы и особенно подчеркнуть в ней свои заслуги, Цицерон в 3-й речи, выступая перед народом, представляет Каталину уже как очень хитрого и опасного врага, сильно преувеличивая масштабы заговора.

Он говорит римлянам, что они спасены от резни и пожаров; вырваны из пасти рока (III, 1, § 1), что Катилина в Риме был очень опасным и коварным врагом, так как «все было ему известно, всюду был он вхож; знал он, как с кем заговорить, как кого ввести в искушение, как кем овладеть — а его знанию соответствовала и смелость; был у него ум, созданный для преступления, а его руки и язык были верными помощниками его ума» (III, 7, § 16).

В 4-й речи, целью которой было заставить сенаторов согласиться на самое жестокое наказание для пойманных заговорщиков, Цицерон опять старается изобразить их замыслы и планы, как можно более страшными (IV, 1, § 2; IV, 2, § 3; IV, 2, § 4). Он запугивает сенаторов, уверяя их, что заговор еще не уничтожен и зло получило широкое и губительное распространение (IV, 3, § 6). Так он вырывает у них решение казнить схваченных в Риме заговорщиков.

Возвращаясь к 1-й речи, отметим, что главы, характеризующие Каталину (I, 5—10) — одни из наиболее блестящих глав речи.

Восьмая глава этой речи сохраняет черты спора (*altercatio*) между Цицероном и Каталиной. Вероятно, Катилина хотел заставить Цицерона официально доложить сенату об изгнании его из города, так как надеялся, что сенат не даст консулу на это полномочий. Знал это, очевидно, и сам Цицерон, отказавшись докладывать об изгнании и объяснив свой отказ нелюбовью к официальным мерам.

Вот как сохранились черты этого спора в той речи Цицерона, которую мы имеем: «Доложи сенату», говоришь ты; вот, значит, чего ты требуешь, давая этим понять, что если это словесие принудит тебя к изгнанию, то ты готов ему повиноваться. Нет; докладывать я не стану, — это было бы несогласно с моими принципами — но все-таки я заставлю тебя догадаться, как сенаторы настроены к тебе» (I, 8, § 20).

Затем Цицерон, видимо, с особой силой, произнес: «Уйди из города, Катилина, освободи государство от страха! Отправляйся — если тебе нужно это слово — в изгнание!» (I,

8, § 20). Сенат молчал, он никак не выражал своего отношения к происходящему, продолжая оставаться в нерешительности. Но Цицерон решил за него, он ловко тотчас же истолковал молчание как согласие сената с его словами, и указал на это Катилине.

Судебная практика научила его изворотливости, которая не раз помогала ему в трудных положениях и здесь пригодилась, как нельзя лучше.

Цицерон употребил все средства своего богатого риторического арсенала, чтобы убедить Катилину уйти из города, а сенаторов — заставить поверить в его виновность и принудить действовать. Дважды в 1-й речи он применяет такой высокопатетический прием, как олицетворение (*personificatio* — I, 7, § 18 и I, 11, § 28). Дважды он влагает речь в уста измученной и настрадавшейся будто бы от козней Катилины родине. Обращаясь к Катилине, оратор призывает его внять ее молчаливой мольбе и уйти.

«Уйди же, освободи меня от этого страха — если он основателен, чтобы мне не погибнуть, если же нет, то хотя бы для того, чтобы мне, наконец, свободнее вздохнуть» (I, 7, § 18), — говорит Катилине родина.

Вряд ли Цицерон серьезно надеялся этим приемом тронуть душу Катилины. Его слова были рассчитаны главным образом на сидящий в безмолвии и бездействии сенат. Именно к нему были обращены жалобы отчизны на свое несчастное, по вине Катилины, положение и просьба избавить ее от него. Цицерон взывал к патриотическим чувствам сенаторов, продолжавших молча внимать красноречию оратора.

Второй раз олицетворенная отчизна как бы в горестном изумлении перед его бездействием обращалась уже к самому оратору: «Как же ты не велишь его отправить в тюрьму, вести на казнь, не заставишь его позорно сложить голову на плахе? Что же служит тебе помехой? Обычай предков? Сколько раз даже честные люди в нашем государстве наказывали смертью граждан-злодеев! Или законы, изданные относительно казни римских граждан? Никогда у нас правом граждан не пользовались государственные изменники» (I, 11, § 27—28).

И эти слова родины, как и предыдущие, были тоже, разумеется, рассчитаны на сенат, которому Цицерон пытался внушить свои мысли и доводы. Недаром он сказал сенаторам перед этой речью: «...я прошу, чтобы вы внимательно выслушали мои слова и тщательно запечатали их в своем уме и сердце» (I, 11, § 27).

В только что разобранных главах речи встречаются не упоминавшиеся здесь ранее две звуковые фигуры: аллитерация (*alliteratio*) (I, 5, § 12) и анноминация (*annominatio*) (I, 10,

§ 27; I, 11, § 27; I, 12, § 30), которые относятся к тому же разряду фигур, что и анафора и *geminatio*. Самая употребительная из них у Цицерона — анафора.

Помимо той смысловой нагрузки, которую несут эти фигуры, выделяя или подчеркивая смысл соответствующих слов, они еще служат и звуковым украшением речи. Как известно, Цицерон придавал большое значение звуковой стороне речи, а так же и ее ритму. «Два элемента составляют очарование для ушей — звук и ритм», — говорил он в «Ораторе» (49, § 163). Упомянутая здесь аллитерация состоит в употреблении подряд трех слов, начинающихся с буквы «г» (*residebit in re publica reliqua conjuratorum manum*). Не случайно, за этими тремя словами идет именно слово «*conjuratorum*», хотя и не начинающееся с г, но содержащее два *-r-* в середине. Оно удачно дополняет и подчеркивает аллитерацию. Это часто встречающаяся у Цицерона комбинация. Например — «*quae sola homines consolari solet*» (IV, 4, § 8).

Аллитерация вообще чаще всего попадает нам в наиболее отделанных речах из Катилинарий — в 4-й (IV, 1, § 1; IV, 1, § 2; I, 4, § 8; IV, 5, § 9; и т. д.).

*Annominatio* — это, собственно, игра слов. Например: *ut exsul potius temptare, quam consul vexare rem publicam posses* (чтобы ты лучше покушался на государство как изгнанник, чем терзал его как консул — I, 10, § 27). Здесь игра слов «*exsul*» (изгнанник) и «*consul*» (консул). В I, 11, § 27 сходная игра слов: *emissus — immissus* в I, 12, § 30: *reprimi — comprimi*. Очень выразителен этот прием в 4-й речи (IV, 6, § 11) — *sepulta in patria insepultos acervos civium* (в погребенном отечестве — непогребенные тела граждан).

В эффектной 10 главе 1-й речи, где Цицерон клеймит Катилину и его сообщников гневными и острыми словами, мы находим слово с греческим корнем — глагол *baschari* — праздновать вакханалии, неистовствовать, безумствовать (I, 10, § 26). В 4-й речи нам встречается причастие от этого глагола — *baschantis* (IV, 6, § 11). В первом случае про Катилину сказано, что он *in voluptate baschabere* — будет неистовствовать в радости, не увидев в своей шайке ни одного порядочного человека, во втором про одного из его сообщников — Цетега говорится, как о ликующем (*baschantis*) среди потоков крови граждан. Употребление слов греческого происхождения, так же, как и других иностранных, сложных или редко встречающихся в обиходе слов у Цицерона в речах почти исключено. В 1-й и 4-й речах это слово с иностранным корнем Цицерон употребляет как и в большинстве других случаев, чтобы подчеркнуть ими необычность, экстравагантность момента, обстановки, в отрицательном смысле: Катилина, безумствующий от радости в толпе

пропащих людей; Цетег, ликующий среди потоков крови. Точно так же про другого заговорщика, Лентула, сказано *regnans* — царствующий, а про Габиния — *purpuratus* — порфиноносный — эпитеты, употребляемые обычно по отношению к восточным царям и сановникам.

Заключительная часть речи (*peroratio*), по теории Цицерона, должна отражать искренность чувства, темперамент и пафос оратора, однако соответствующий, как и в прочих частях речи, се предмету. Ритм уже не так важен, как, например, в *exordium'e*. Именно здесь оратор чаще всего использует самые патетические фигуры: обращение, олицетворение, восклицание, молитвы.

Заключения к Катилинариям не отличаются каким-то особым пафосом и обилием фигур. Правда, все они, кроме заключения 4-й речи, содержат обращение к богам и советы гражданам помолиться. Однако главная особенность их, черта объединяющая заключения всех четырех Катилинарий,— это искренность чувства, вложенного в них оратором.

В заключении к 1-й речи он выражает страстное желание увидеть Катилину вне стен Рима и даже дает ему свое напутствие, зная, что тот уйдет, чтобы начать войну. Как раз это заключение, пожалуй, самое изысканное из всех заключений к Катилинариям.

Обращаясь с молитвой к статуе Юпитера Статора, он играет на значении слова *Statog*, сознательно искажая его первоначальное значение. По преданию, Юпитер был прозван так за то, что в сабинскую войну остановил бегство римлян 66. Следовательно, *Statog* — это Остановитель. Цицерон же толкует слово *Statog* так, как ему это выгодно в данный момент, называя его Становителем этого города и всей империи, противопоставляя его разбойнику Катилине: (*Tu, Juppiter, ...quam statorem hujus urbis atque imperii nominamus*). Он просит Юпитера, Становителя родины, охранить храмы, стены города, жизнь граждан от Катилины и его сообщников, врагов отчизны (*hostes patriae*) и грабителей Италии (*latrones Italiae*) и обречь их на вечную кару при жизни и после смерти.

В заключении ко 2-й речи он призывает граждан охранять свои жилища, говорит, что позаботится об их безопасности.

Он угрожает оставшимся в городе заговорщикам, призывая их вести себя смиренно, не то всякий, кто только попытается злоумышлять в городе, убедится, что «в нашем городе есть бдительные консулы, есть отличные магистраты, есть деятельный сенат, есть вооруженная сила, есть, наконец — тюрьма, построенная нашими предками на гибель нечестивым и уличенным

преступникам» (II, 12, 27). Он обещает гражданам устранить опасность ценою наименьшего количества жертв.

В заключении к 3-й речи, которое состоит из целых трех глав (10, 11, 12), Цицерон призывает радоваться бескровной победе над заговором, для сравнения совершая экскурс в историю других междоусобиц, которые все протекали с кровопролитиями.

Уже испытывая некоторое беспокойство за свое будущее, что особенно явно чувствуется в конце 4-й речи, оратор просит сограждан всегда помнить о том, что он для них сделал. Говоря о врагах, которых он себе нажил на службе отечеству, он выражает надежду, что защитой от них ему будет всегда сочувствие всех добрых граждан. Как в заключении во 2-й речи, где он упоминает о деятельном сенате, так и здесь, в 3-й речи, говоря о сочувствии и памяти о себе, Цицерон выдает страстно желаемое за уже имеющееся.

В маленьком заключении к 4-й речи опять звучит просьба, почти мольба оратора помнить о его заслугах и позаботиться о его сыне.

\* \* \*

Даже при беглом взгляде на Катилинарии можно видеть, как разнообразны оттенки речи Цицерона, как велико его стилистическое и ораторское мастерство. Цицерон получил прекрасное общее и специальное риторическое образование, обладал к тому же необыкновенным врожденным ораторским талантом, был не только прекрасным оратором, но и теоретиком ораторского искусства.

Принципы, легшие в основу его теории, были руководящими принципами в его блестящей ораторской практике, которая при жизни открыла ему, человеку незнатного происхождения, доступ к самым высоким государственным должностям, а затем прославила его в веках.

Риторика — сложная наука, с огромным сводом самых различных правил на все случаи ораторской практики, хорошо знакомых Цицерону и им же самим проповедуемых в теории. Но секрет успеха Цицерона как оратора заключался не в том, что он хорошо знал теорию и тщательно следовал ей в своей практической деятельности, не только в его исключительном таланте, а, главным образом, в том, что он всегда в своей практике шел не от правил, а от предмета речи, от материала, предоставляемого ему жизнью. Его необыкновенная ораторская изобретательность всегда основывалась на принципе уместности, каждый риторический прием находил себе оправдание в материале.

Некоторые исследователи, например, Т. Моммзен, не признавали за Цицероном ораторского таланта и считали его лишь превосходным стилистом. Разумеется, такая оценка деятельности Цицерона несправедлива. Цицерон был именно настоящим оратором, умело использующим обстоятельства, настроение аудитории, свое стилистическое мастерство для главной цели — убеждения слушателей и достижения реального результата.

Прекрасный пример, служащий доказательством силы и действенности этого великого ораторского таланта — его речи против Катилины и результаты, ими достигнутые.

#### СОДЕРЖАНИЕ

<i>М. Е. Грабарь-Пассек.</i> Начало политической карьеры Цицерона (82—70 гг. до н. э.)	3
Введение	
Глава I. Юность Цицерона (106—82 гг. до н. э.)	7
Глава II. Первые выступления Цицерона (81—78 гг. до н. э.)	12
Глава III. Процесс Верреса	21
Глава IV. Цицерон и Помпей	28
<i>Ф. А. Петровский.</i> Литературно-эстетические воззрения Цицерона	42
<i>Е. А. Беркова.</i> Цицерон как критик суеверий	57
<i>Т. И. Кузнецова.</i> Речь Цицерона против Верреса	79
<i>И. П. Стрельникова.</i> Некоторые особенности ораторской манеры и стиля Цицерона (по Катилинариям).....	111

**Цицерон**  
**Сборник статей**

*Утверждено к печати*  
*Институтом мировой литературы*  
*Академии наук СССР*

•

Редактор издательства *Ю. Ф. Шульц*  
Технический редактор *Г. В. Полякова*  
Художник *И. А. Литвишко*

РИСО АН СССР. 49—101. Сдано в набор 9IVII 1957 г.

Подп. в печать 3/II 1958 г. Формат бум. 60X924,,.

Печ. л. 9';2+1 вкл. Уч.-изд. лист. 9,5

T-00041 Тираж 8000 Изд. № 2447 Тип. зак. 1783

*Цена 7 р. 75 к.*

Издательство Академии наук СССР.

Москва, Подсосенский пер., д. 21\_\_\_\_\_

2-я типография Издательства АН СССР.

Москва, Шубинский пер., д. 10